ГРАНИ

GRANI

149

1988

Verlagsort: Frankfurt/M., Juli-September

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими напечатанными в нем произведениями, редакция журнала „Грани" выпускает карманные сборники избранного из „Граней".

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатаны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 страниц. Они легко помещаются в кармане или женской сумочке. Каждому путешественнику – советскому ли за рубежом, иностранному ли в России – не трудно взять их с собой.

Мы обращаемся к читателям в России:

- *передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число читателей;*
- *просите друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- *просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к читателям за рубежом:

- *используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники предназначены для России! Каждый, желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ, – может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

A. Kandaurow c/o „Possev-Verlag"
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

Уже выпущены следующие сборники „Граней":

Сборник	№ 1	из	№№	87/88-94 (разошелся)
Сборник	№ 2	из	№№	78-86 (разошелся)
Сборник	№ 3	из	№№	71-77 (разошелся)
Сборник	№ 4	из	№№	69-70 (разошелся)
Сборник	№ 5	из	№№	53-68
Сборник	№ 6	из	№№	49-52
Сборник	№ 7	из	№№	40-51
Сборник	№ 8	из	№№	34/35-39

Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов
1947 – 1952 Е. Р. Романов
1952 – 1955 Л. Д. Ржевский
1955 – 1961 Е. Р. Романов
1962 – 1982 Н. Б. Тарасова
1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984 – 1986 Г. Н. Владимов

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLII № 149 1988

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Андрес КОЙТ. **Битые собаки.** Повесть 5
Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. **Metamorphosis.** Стихи 83

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Евгений ВЕРТЛИБ. **В. Шукшин и русское духовное возрождение** 94

ИСТОРИЯ

Ген. А. И. ДЕНИКИН. **Письма 1939 - 1946 гг.** Публ. Н. Н. Рутыча и Н. М. Янова 130
Н. Н. РУТЫЧ. **Последние годы генерала А. И. Деникина** 176

ПУБЛИЦИСТИКА

Фридрих НЕЗНАНСКИЙ. **Прыжок над пропастью** 184

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

С. ГАВРИЛЮК. **Польская Православная церковь в наши дни** 223
Христина МАМАЙКО, Александр НАУМОВ. **Русские фрески как пример византийской живописи на польских землях** 240

ИСКУССТВО

Ирина МУРАВЬЕВА. **Снятые с полок. (О фильмах "Мой друг Иван Лапшин" и "Комиссар")** 249

НАУКА И ТЕХНИКА

Марк ПОПОВСКИЙ. **Юрий Кондратюк - в трех зеркалах** 268

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

А. Федосеев. Осмысление опыта (Дора Штурман "Городу и миру") 304
В. Синкевич. Только одна жизнь (Иван Савин "Только одна жизнь") 315

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 326

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1988 by Possev-Verlag
V. Gorachek KG, Frankfurt am Main
Издательство «П о с е в»

Андрес КОЙТ

Битые собаки

Повесть

"Взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, первый на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, подобного которому нет в Европе, по доброте и мягкосердечию, я скорбел душой, что всё это задавлено, вянет и, быть может, скоро падёт, не принесши в мире никакого плода".

Протоколы высочайшей следственной комиссии по делу о 14-м декабря.
Допрос В. Кюхельбекера.

1. ВЛАСТЯ

Дело не в соболях. Разговор был попутный, и соболя просто к слову пришлись, а Никифор возьми и скажи, что сорок соболей на шубу много, соболь не крот, тридцати за глаза хватит, а то и меньше, а что, мол, мера царская - сорок, так она у них известная, - куры не клюют, вот и мера. С ним спорить - разве каши гречневой наевшись, такой он человек; рассердится, от разговора уйдёт и лицо у него тогда, как замок амбарный. Да не потакать же

на характер? Моя, что ли, вина, что шубы шили улицу мести? И рукавицами гнушались, до земли рукава пускали? И шапка столбом с полметра горлатная? И хозяин - Верзила какой-нибудь Твердилович, сажень косая? И все сорок выходит, как на нем были, - и что ж тут "много"? Никифор на это не рассердился, а захохотал, высветив полный рот золотых зубов, и спросил, пересмеявшись: - "Это иде ж таких-от шуб видано?"

Отсюда начался краткий курс родной истории, веселая суматоха царей и князей от "А" до "Я", где венчались на престол меховой мономаховой шапкой, щеголяли в мехах, торговались о них же, жаловали мехами, дрались из-за них и скандалили, ясак взымали, приданое давали, взятки брали - ими, платежи при расчетах, долги, залог - опять же они, меха, по предпочтению, соболь.

Отдай, Стенька Разин,
Отдай свою шубу.
Отдашь, так спасибо,
Не отдашь - повешу.

Шуба ценой в Стеньку - соболья. Затем пошел народ поплоше: фантастический Онегин в бобрах, худородный Шаляпин в еноте, светские камелии в хорьках, ваньки в заячьих поддёвах, прибыльщики в кунице и купечество, именуемое "лисьей шубой".

Всю эту тарабарщину от фамилий до закупочных цен и стоимости тогдашней жизни Никифор выслушал и запомнил очень серьезно, скорей всего по закону деловой надобности, когда легко запоминается. Работал он промыс-

ловиком или, по его выражению, промышленником, так что пушнина для него была таким же обычным делом, как уголь или пшеница для тех, кто ими занят, а тут откуда ни возьмись цари да князья, да история с литературой – важность. Наверное, Никифору это приглянулось, он и запомнил, а за запах сборного винегрета рассчитался звоном всей своей наличности. Речь, правда, он повел не столько о соболях, сколько о другом, и обнаружил в себе чистокровного москаля, который поднабрался у хохлов словечек, приспособил их к семиладному русскому ладу и говорит – вначале странно, потом любопытно, а привыкнуть, так и вовсе хорошо, хотя мотив, конечно, прост, как во поле береза, ежели послушать.

Прежде того, что с ним в дальнейшей жизни приключилось, был Никифор молодой; военную службу нес при собаках; вскармливал их, пограничных; на проходку гулять водил; под шпиёна обряжался, чтоб они его рвали на куски; дерьмо за ними согребал и считался первым дураком во всей Красной Армии. И была у них в вольере собака, Форт звали, умнющий пёс, всё умел. Нестерук, старший структор, выдрочил его гавкать до семи раз по счёту и разные тонкости, рассказать – не поверят. К примеру, водку лишь-лишь распочать не может, а тах-то – и в кружку нальёт, и бутылку, капли не оброня, поставит, а Нестерук-от выпьет, ногу на ногу вскинет и постыдную дает команду. Ну, кобель тогда сигает и натурально хочет структорский сапог снасиловать. Все кругом ржут, чертям тошно аж, а Форту за то кусок рафинаду. Смекалистый был пёс –

куда! Ежели б ему заместо сапога нарушитель границ попался, то-то бы он его удивил. Но нарушителей не шибко много было, а Форта извели по таковой причине.

Обучил его Никифор одну штуку робить и без никакого рафинаду, потому – собака животина способная, пакость за плату творит, добро за доброе слово. Пришел однова структор шутки навеселе шутить, а Никифор цокнул издаля языком, – у собаки-то слух вострый, не как у людей, – она структору мотню расшила и ятры выпустила, доктора вправляли долго. Форта, ясно, убили. "Сбесился", – говорят. А какой "сбесился"? Посчитался кобелёк за науку, за погань людскую – полный расчёт. Нестерук-от, небось, попомнит его до смерти пуще ласки родительской. Касаемо Никифора, никто ничего, потому – известно: во-первых, дурак; во-вторых, "из дярёвни приехал"; в-третьих, "а тамотка все тах-та". Ну, и сошло наперво.

А как он дурак, то и на занятиях запросы у него дурацкие. "Как же, товарещ командер? Нешто неприятель станет дожидаться, пока в него стрелять учнут, чтоб, значит, малой кровью одоленье? А что, как он тоже додумается: мы бежать – он погодит, мы стали, чтоб на мушку его, а он раньше нас – шпок! – и бывай, а?" "Нет, – командер говорит. – Вы, красноармеец Беспалов Никифор, не так понимаешь задачу, что вспроть красной рабочекрестьянской никакому неприятелю вовек не додуматься, садись". И смеётся. Другие с ним. Потому – со стороны видно, какой-от Никифор глупой: все до одного уже поняли, а он хоть бы толичко. И при нём же говорили,

что на дураках Расея спокон века построена, никакой умник не образует, а ты, Никифор, понимай, как хошь. Одно слово, снущались над ним кому не лень, дурили дуром и дуриком погоняли.

Со службы возвернулся он побирушка-побирушкой. Сельчане спрашивают: "Что ж ты, паря, Аника-воин, тудыт-твою поделом, красноармеец Никифор Беспалов, служил-служил, да гол как сокол вышел? Или не достиг диагональки-от задрипанной срамоту поприкрыть?" А он им: "Вышел-де приказ от Тимошенки-маршала, и он, Никифор, под боевой тоё приказ угодил, а тамотка прописано попридержать её, диагональку-то, потому - наукой доказано, - ей, диагональке, два срока сносу нет, ежели с умом. От такого да приказа народу крупное послабление произойдет и жизнь наступит разлюли-малина, до того зажиточная, а красноармеец на то и красноармеец, что он и в огне не горит, и в воде не тонет и закаляйся, как сталь". Смотрят на него, смотрят, не разберут: не то дурак, не то придурок. Решили - дурак; больно уж харя тупая и глаза мутные без просвета. "Ну и поди, - говорят, - бычкам колхозным хвосты крутить; там-от как раз твоё место за старшего, куда пошлют".

Но Никифор туда не пошел, в люди подался. Рабочий класс маненько слаще жил, чем трудящее крестьянство, - он и приткнулся, иде слаще: в город на лесопильню. Робил тах-та год, робил ещё и наробил: состригло ему на пилораме два пальца с правой руки, один - указка, другой - середка, что ты скажешь! Он их подобрал, обдул опилки, норовил обратно притулить - не пристают. Работу все побросали,

сбежались, что смеху было! "Ты, Никифор, – советуют, – варом их пришпандоль столярным". Он и варом пробовал, – не берет. "Ну, – говорят ему, – не шибко крушись, фамиль у тебя такая, Беспалов, – на роду, стало, написано, вспроть судьбы не попрёшь, зато Беспалов ты теперь как есть, хошь по документу, хошь по пальцам".

Через месяц – хлоп! – война отечественная. Кто смеялся, тех на фронт побрали, а там кому ногу долой, кому руку, а кому чего повыше: накось, посмейся со своего, чем с чужого, дешевле выйдет. Никифора тогда под суд упекли, вроде он сам это себе удумал сотворить; стало, наперед знал, сучий потрох, что война, потому – дезентир и стибулянт высшая марка, расстрелять мало. "Но вы, – следыватель сказал, – Никифор Беспалов Трофимович товарещ, вы лично не виноват, виноватый тот, кто вас тах-та подучил пальцы отсечь, убыток родным властям учинить, летось в холодке отсидеться, зиму на припечке, от фронта подале. Но как вы, – говорит, – сознательный и умнеющий из всех, кто нам попадался, то покажите на секретного врага, кто вас в это дело захомутал, незнамо за сколько, и мы его арестуем, а вас отпустим на все четыре, паёк дадим и лишнюю карточку, поправляйтеся, потому – грамотный, два класса образованье, должны соображать, чего выгодно, чего нет".

"Спасибо, товарещ начальник, – сказал Никифор, – на вашем на добром слове и что вы такой человек, не как другие. А то думают: вот Никифор, тёсана морда, стамески нет. Один вы предметили, кто я таков и на что способность. За тоё вашу ласку-привет, да я те на

кого хошь покажу, хошь на булгахтера, хошь на дилектора самого, ей-ей, моргни только. А ежели мне ещё карточку на пропитанье, так повсегда прошу обращаться, потому как Никифор Беспалов днём и ночью нащепь готов, коль властя велят". Тах-та он им доложил.

Следыватель двадни думал, сизый селезень, чего с ним, стибулянтом, по закону требуется, на третий придумал: сам на передых, умаявшись, и вечерять, а по дороге, значит, того: "Выгоньте, - говорит, - мне этого дурака, духу чтоб не чутно было". К Никифору двое ребят, мастера, собой дюжие, гимнастерки синие, галифе диагональка. С-под боков подпёрли, документ в рыло сунули "выматывайся, - командуют, - раз, два, три!" Да Никифора на кривой не объедешь; оне его по шеям, а он им насчёт пайка, хлебной карточки и два класса образованье. "Выматывайся, - кричат, - шкура, дезентир, тудыт-твою поделом!" А он упёрся и ни в какую: "Не выйду, - говорит, - доколь пайка не будет, по суду обещанного. Подряжали, - стало, давай". Ну, схватили его под микитки, на крылец вытянули, носом в калюжу воткнули. Отряхнулся Никифор, засмеялся себе на уме и пошёл с утра на работу.

Как лесопильню на военный лад перестроили, то стали оне выпускать танки, совсем настоящие, только деревянные и не ездят, а заместо пушки оглобля зелёная немцев пугать. Ну, немцы предметили опасное производство, потому - танки все на виду, и бомбили их на дрова, так что с планом ничего не получалось и невыгодно тоже: сколько наробят, столько разбомбят, а больше ежели - больше бомбить-от будут. Дядя Григор, столяр - первая рука,

говорит: "Надо было выковыриваться в глубокий тыл и там-от план давать, а под бомбами робить план трудно до невозможности". Тутка сзади к нему двое подошли в диагональке, да один леворвер вынул и со спины дядю Григора два раза застрелил. "Тах-та, – говорит, – всем, кто сеет панику". Кругом все боятся и молчат, один Никифор трепыхнулся: "Убивец,– кричит, – ракло, пошто человека умертвил трудолюбимого?" А ракло подсмехнулся и вдругорядь за леворвером полез, да народ заступился, кричать стали: "Он глупой! Он недоумный! У него справка есть! Он чего хошь ляпнет, – не отвечает!" "Ну, – говорит ракло, – глупой, это другое дело, надо разобраться, а то, могло быть, он у вас под пастушка робит, а незаменимых работников у нас нет". И пошагал с конторскими властями разбираться, а те сказали, что, мол, – да, как пробка, и на самой пакостной работе содержится. Сразумел тогда Никифор, что народ заменить, как вошку стряхнуть, одни властя незаменимые, и что дураком родиться – счастье на всю жизнь. Стал он беречь тоё счастье и не высовывался боле до поры.

Ещё заставили его всю войну что месяц на комиссию ходить, чтоб за пальцами, значит, наблюдение, потому – новые отрасти должны, и его, Никифора-от, можно тогда на передовую. Ходил он, ходил – не растут пальцы, хоть ты что. Доктора щёки надуют, лоб наморщат, на Никифора серчают и все, похоже, думают: "Ах, стибулянт, туды его поделом, не иначе робит он с ними чего-сь, что не растут". И со всеми тах-та: калека, инвалид, – всё одно, справку день в день предоставь.

Был тамотка один с лесопильни, ногу на войне отняли выше колена, тоже ходил-чикилял-обижался. Ему, правда, два раза в году ходить было, потому - нога не пальцы, долго растёт новая. Никифор попомнил надсмешки, помстился. "Ну что? - говорит. - Фамиль-то как твоя? Укладнов или, чай, Безногов, товарещ? Меняй-от теперь документ по ноге на случай упадешь - легче встанешь". Молчит, помнит, стало, смешливый. А тоже ни шиша не выросло, освободили после войны.

И до того опротивели ему властя, хуже горькой редьки. А все одинаковые, одним миром мазаны. Человеку простому хоть сгинь-пропади, им горя нет. Вестимо дело, без властей тоже не житьё: там грабёж, там на дороге шалят, там сироту фулиганы обидят, чего-ничего! - за всем доглядеть, всё устроить - работа. Да больно уж лихие Никифору властя попадались; что лютуют, что над народом смываются, сущие баре: ни на сироту смилуются, ни на вдовью бедность погребуют, до жива мяса обдерут, мало без портов-от по миру пустят. Что Никифор от них принял снущений всяких и обмана - не сказать. За тоё-от и не захотел он середь людей жить, далече подался, тамотка вольней.

Как война кончилась, надумал он кинуть близкие места и уехать, иде нас нет. Добром же никого не отпускали, потому - рабочих рук нехват, дались им, вишь, руки-от рабочие. И придумал он в остатний раз дурака сплясать: купил газетку центральную, поперёд себя выставил и - напропалую, была-не была. "Вот, - говорит, - как властя нашие призыв дают Восток Далёкий освоять, то я, - говорит, -

желаю сей же час в первых рядах, ура". Поскребло начальство башку, сказать им нечего, говорят: "Поздравляем вас Никифор Беспалов, что вы сознательный патриёт, дозвольте пожать вашую ручку и желаем счастливый путь с музыкой". И стал у всех обиход с Никифором, – ну, не знают, куда посадить, чем почтовать. Мигом газетку по области сообразили, портретик с крупными буквами: "Ау, иде вы есть, молодцы-беспаловцы, а ну, айдайте на Далёкий Восток с Никифором!" И всякую небылицу там-от наплели, – страмота: и идеев у Никифора край непочатый, и передовик он от зыбки стахановский, и в партизаны когда-сь во сне метился победу приближать, и разные от-сивки, от-бурки, поминать стыд. Таки, завербовался.

На место прибыл – дело просто: лес вали, ветки круши, брёвна катай, в штабель складывай. Стало ему тамотка куда как свободней: беспорядку гораздо, властям не углядеть, работа со свету до свету не разогнись, да робята кругом свойские, – живи, не хитри, не выступай, то и жив будешь, а нет, так пойдешь в лес к цыгану долг отдать и заблудишься или деревом тебя привалит. Никифор трудился на добрую совесть до полного просветленья, что при таком-от распорядке, когда на дураках всё поставлено, за вред платят боле, чем за выгоду. Ужотко он вреда наробил, пеньков по себе оставил, какую пустынь произвел в богатом краю, сколь того леса в гной-землю пошло – нет счёту, а указ – "давай, давай", а что вывоза нет, – "не тебя, Явропа, касаемо", – такое у него было прозвище.

В тех-от краях повидал он зверя прекрасного вдоволь, а Никифор толк в любой красоте смыслит, вот и приглянулось ему всё, а соболь отдельно. Властя соболей пуще всего любят и деньгу дают получше. А и как их не любить? Смушек соболий, мех-от птичий, дунь – полетит, одно чрево матернее мягчей будет: на выдерг не податлив, вщеть не ломок, плечам не в тягость, а поглядеть – душа вон просится, глаза воровством блестят, руки сами собой снуют: возьму, мол, и не отпущу, а ты что хошь, а я не отпущу, тах-та. Дорогой мех, неописуемый, отрада глядеть, да пушинка к пушинке, да вымытая вся, да переливчатая, да мать честная какой. Не устоит другой зверь вспроть соболя, бобёр тоже не устоит. Такому-от зверю да дробью шкуру дырявить? Никак. Ты в ловитку его бери, чтоб целый, значит, а стреляному соболю пшик цена, на ружьё, стало, не надейся, потому – не придумано ружья на него иголкой стрелять, в глаз попадать. У самого меткого меткача Никифор поспорит и в третьей наугад шкуре дырку найдет заделанную, – то-то. Ныне, слыхать, соболя в клетке разводят, но это не тот соболь, который природный; и мех у него жиже, и глянца гораздо мало, а бархата вовсе никакого нет, потому как светлеет он в неволе, цвет свой тёмнокоричневый царский теряет, – вот оно что, шило на мыло менять, свободу на каторгу.

Переменил тогда Никифор свою жизнь без возврата: выдюжил срок по договору, рассчитался и ещё дале махнул, на самую вольную волю, иде лес с болотом сходится. Лес, он, кому урман, кому тайга, а Никифору лес, и аскыр – не аскыр, а соболь, – не привык он к

разным словам, одно лишь болото тундрой стал звать, тах-та оно короче. Прибился к берегу, и обзавелся, и обженился, и в артель поступил в охотницкую, и зимовку, гляди, заимел на участке далёком, заброшенном, и струмент гожий, и на промысел вышел, а для того собаками разжился, две упряжки их у него, собак-от, одна молодая, другая перестарки и все - битые, дорогие, потому - за одну битую две небитых дают. Кабы напарник, он бы их и не бил, да одному рисково промышлять, а с неуками небитыми пропадёшь без напарника. К тому ж, не охотник он, а ловец: стрелять его Бог не сподобил, пальцы отнял нужные, а ружьё ему на крупного зверя дадено. Да и видит он впотьмах слабо сызмалу, - на собак вся надея. Пушняка он сдает смушками тах-та: лиса, горностай, куница, крыса водяная - ондатрой звать, да еще соболь. Белку Никифор не промышляет и зайца тоже; белка по земле мало бегает, её на дереве бьют, а у Никифора ловитки; заяц же сам по путику в петлю прёт, да для другого предметен, - живая привада, лучше нет. И жить Никифору вольготно, и заработок добрый, и сам себе властя.

Оне, верно, и туточка ему докучают, но не как ране, а все ж таки, потому - лены оне, властя, не дай Бог. И скрозь тах-та: робить не хотят, а на деньгу жадные, без этого дела ты к ним лучше не ходи. Справку в районе выправить плёвую - затаскают по кабинетам, задурят башку, друг на дружку валят, перстом на-Бога тычут да приговаривают: "Не всё доразу, надо ждать". Довелось, вызвали однова. Какой-сь Мефодий Беспалов, душегуб, власовец, иде-сь чего-сь натворил, а с Никифора спрос,

как он однофамильный. Он им красенькую володю – тырк! – под локоть. "Никак нет, – говорят, – товарещ. Много запросов, шибко большой злодей и что хуже – на тебя подходящ. Поди поселись в гостиницу да приходи-садись биографь писать, а мы проверим, иде родился, иде крестился, иде чего, и тот ли ты Никифор, а не этот Мефодий". Так он им на три зелененьких не поскупился – тырк! "Ну, – говорят, – другой табак, давно бы тах-та, биографь можно не писать и в гостиницу не надо, а запросы мы сами уладим". И тут же ему за раз чихнуть справку, что Никифор это вам не Мефодий, а доподлинный Никифор, скалючительно честный трудящий наш. Поблагодарил Никифор за их заботу, а оне ему: "Мы прислуги народа, это наш долг, мы завсегда перед геройскими трудящими в долгу, как в шелку, уж вы только заходите, а мы уж расстараемся", а у самих на уме: "Поболе б таких дураков, то-то жить было б!" А Никифору, чем взад-вперёд ездочиться, лучше добром откупиться. Тах-та он и робит, откупляется за сладкую тоё свободу.

Через неё он и курить перестал, и от водки уберёгся, чтоб не пахло от него в лесу, чтоб был он тамотка свой без лишнего духу, как зверь чистый. В посёлке ему тоска, два месяца семейно поживет и – обратно, благо вертолётчики теперь-от по его заказу раз в году отвезут и привезут, и за смушками на зимовку заедут, и Щербан-приёмщик с ними, мужик жуликоватый, разговор детский: "Кончай, Никифол, Фланцию чепулить, челвонцы глебсти, длугим дай плибалахлиться". И отложит сам себе мало-мало по божецки.

На зимовке скучно не бывает от работы, а главное в работе не домашность прочная, не ловитки хитроумные и не соболь драгоценный, а угадай чего. Собаки – главное. В них, битых, вложил Никифор и жизнь, и прожитие, и капитал, – всё сполна, ничего не пожалел-оставил.

2. СЛАВА ВОСПЕТАЯ

Битые собаки веку своего отпущенного, как люди, гораздо не доживают, годов этак на пять. Чего-сь у них в серёдке ломается и после десяти лет разбивает их паралик, требуется подмена. Да она Никифору и помимо того требуется по причине уговора по добру с природой ладить: иде повремени, иде приноровись, а то и вовсе попусти, не претикословь. К примеру, закон собачий гласит: в жниво не женись, зимой не щенись, в снежок погуляй – хоть десяток рожай. Тах-та по закону разрешает он им гульбища с масленой по вёсну самую и лета маненько. У людей когда-сь тоже был такой обзавод и – ничего, не перевелись. Вот и выручает Никифор сучку от кобелей на день-два под замок, пока бросит она свою дурь до предположенного времени, а всё одно не углядишь. Расплюнется Никифор да чертыхнётся, а хошь не хошь, – выпрягай одну тягловую в декрет, она те не работник, у неё мысли другие, ищи подмену. А подмена, – когда есть, а когда и взять-от негде, хоть к соседу едь, да свет не близок – двести пятьдесят верст до ближнего тоё соседа, как саженем отмерено.

И много у них человеческого, у собак: что притворства, что хитрости, что ума, разве только честней, чем у нас, потому – не вы-

мудряются и всё на виду содержат. Вот обратал он, сказать, собаку, а её тряска зыбкая колотит и вид преступный: "Не сдюжу, мол, хозяин, санки тянуть-от, извиняй". Руку ей в рот засунул, а тамотка – блины пеки. Ну, билютень, стало, и кусок особый, лучше для поправки – варёный. Другая, гляди, заартачила, не хочет робить, хоть запори, вскобенилась. И тут Никифор бесперечно не спорит: иде-сь чего-сь не доглядел, какую-сь обиду, пущай покобенится, и пса за характер куска не лишает; он, кусок-от, Никифору, вроде сказать "Я извиняюсь", а собаке без аппетита, – робить не робила, а лопать давай. Да и мало ли: одна подкуётся до хромоты, другая, послабей что, вовсе из мочи на выходной выбьется. Вот и подменяй молодых стариками или наоборот, когда как. А езжалый пёс битый при нужде в любой паре по гроб жизни работник.

Тоё ради благовременной подмены во всякое пятое лето, когда иде суки щенятся, Никифор тут как тут кутят выбирать и платит красенькую за штуку. Ему б и даром дали, – куда лишку собак держать, но он мужик с перебором, одного много двух из помёта берёт и за тоё перебор платит. Старается он, ясно, чтоб кобельки, оне надёжней, но бывает и сучечки по предмету путёвые попадаются и Никифор не гребует, хотя в упряжке у него боле трёх сук не ходило. Кутята ещё молочные, с ног под собой валятся и хлебом пахнут ржаным, из печки вынутым, но заметки у них – уже, а какие – Никифор знает.

Красота – дело особое. Ездовая порода не тах-та в глаза шибается, и масть у них по большей части скучная. А не последнее дело

человеку трудящему на труд свой покрасоваться; от красоты радость, от радости охота, от охоты разуменье, от разуменья удача, а кто не понимает, говорит-от: "Везёт, мол, дуракам". В красоте Никифор ни маху не даст, ни уступки; упряжка у него первеющей выставки, ежели кто видал.

Другое дело – характер. Его с-под споду достать куда трудней, и Никифор нет-нет да и прошибётся, но все ж таки угадывает предбудущую свою упряжку с самого первоначала, потому – знаток. Для знакомства делает он им проверку, вроде забавы, и забавится долго, а какой щенок ему приглянется, тот жив будет, а других потопят, ежели помимо Никифора охотников на случай не сыщется. Он им в рот заглядывает, в ноздри на чох дует, бабки щекотит, дикие мяса нащуп вызнаёт, за шкирку протяжно воздымает, пузо чешет, хвост щемит и чего-чего не робит. Оне скулят, урчат, бурюкаются, силов у них разве что в помине, а иной таки огрызнётся Никифору пальцы на целой руке посчитать. Тогда Никифор сам зубы скалит, ровно собака, и сопит от удовольства, а норовистого предметит и ещё чего-сь ищет, одного норова ему, вишь, мало, ему весь характер кажи, давай.

Пять собак – слёзы. Семь – туда-сюда, недалече можно. Девять – уже, стало, садись, паняй. Но лучше – одиннадцать. У Никифора всегда нечёт-одиннадцать бегают, потому – передний должен авторитетно сам бежать, вожак он. А что кутятами перебор числа, так лишние выбракуются, покуда до рослой упряжки возрастут. Одно жаль: кабы тоё выбраковка с хвоста шла, а не с головы, оно бы куда

способней, а то ведь – нет, самолучшие погибнут, самовернеющие, такие, что вся надея на них, а Никифору опосля сердце памятью от них отрывать, – легко ли?

Вот он, стало, собрал их и замкнул в закутке тёмном, в сарае – тамотка пущай снюхаются-обвыкнут, а Кулине настрого не велел в сарай ходить и детям заказал шуметь на подворье, – нельзя. Собаки смалу одного Никифора должны что видеть, что слышать, что по нюху чуть, а он им хозяин и от него всё: суд, расправа, закон, приказ. Но это когда ещё оне в привычку войдут, а дотоль школить их следует день в день и уму учить, рук не покладая, потому как успехи нашие столь же от похвал берутся, сколь и от взыску. Тогда на них надейся: вывезут, не бросят, не подведут, одолеют, ежели науку достигли, а наука ихняя с кормёжки начинается.

Кормит их Никифор с первого дня сырым мясом: то сечка, то крошево, то куски поболе, когда на выросте, чтоб не враз слопать, а повозиться, зубы оголить, ножи обточить, жомы набить поухватистей. Входит он, понятно, в расход, закупает пудом печень, лёгкие, селезёнку и что покрепче: сухожилья, мослы, а в них мозги сладкие, да ты их разгрызи-вынь сперва, а опосля ешь. От сырого мяса, дай срок, дикая шерсть у них полезет гущиной с овчину, жилы напружатся и стервеют оне, как звери. Точная точность, – сколь продукта вложить за раз в каждого. Перекармливать не полагается, чтобы брюхо не тяготить, а то переложил в них лишку и пошёл, стало, корм не в прыть-от, не в резвость и не в тягло, а в жир да в лёжку, – лопнул кошель, пропали деньги.

Мясо оне враз полюбили и дрались за него, ровно люди в магазине, когда им скажут: "Спокойно, граждане, зачем себя волновать? Мяса всё одно нет и костей на всех тоже не хватит, расходитесь без милиции". Свивались оне в кубло на первом же куске и каждый кусается, отпихивает, рычит, только бы завладеть. Никифор их не разборонял, покуда кусок не доставался, - кто сильней, и тах-та по очереди. Тогда он им говорил "Ну!", и кутята бросали драться, потому - сообразили скоро: сейчас-от пойдёт новый кусок, не зевай. И за новый грызлись, копошились, в узелок завязывались, перевёртывались, шум в злобе поднимали страшенный, и каждый норовил - быстрей. Опять Никифор говорил "Ну!", и тахта, покуда кормёжка. Оттого оне всего раньше слово "Ну!" спознали и обозначало оно у них опосля столько разного, что людям надо сто слов сказать, и то не всякому растолкуешь, а собакам одного хватит; оне, помимо слов, голос чуют, каково ты им сказал: резко, длинно, всердцах, весело, тихо или криком или ещё как.

Всё до малости предметит Никифор, кто из себя каков: кто хитрый, кто вовсе бессовестный, кто раззява, кто придурковат, кому, стало, первый кнут, кому остатний. Тут-от припасена у него лозина хлёсткая из берёзы, отваживать от подлых повадок и на истинный путь вразумлять, чтоб не испроскудились. В наказаниях толк особый и для науки крепко нужный; не осилить собакам премудрость никифоровскую без берёзы. Опять же: зря наказать - себя лучше постегай, убытку мене. Наказал понапрасну - испугался пёс, вошёл в

него страх, потому – невесть собаке, пошто ты её тах-та, за какую-такую провинность. А Никифору трусоватой собаки не надо, ему навспроть надо, чтоб она страху не ведала и самому чёрту в зубы глядела б с рыком. За дело когда – это совсем другое. Только не откладывай, а на месте и доразу, чтоб, значит, шкоду сотворённую или подлость нечаянную тут же ей к памяти прицепить. Раз ты её отхлестал, два, три, да всё за то ж самое, – "Ага, – собака думает, – значит, нехорошо, значит, ни к чему тах-та робить". И усвоит науку накрепко. Никифор бьёт – не мажет, больно бьёт, хлёстко, с оттяжкой на себя, абы не через силу, а то покалечить можно, а ему калеки на что? – он их не на пенцию собирает, ему помощники нужны справные. Вот и держит он с ними ровный характер и справедливость, потому как полновластья добивается.

Возрастали оне, возрастали, держал их Никифор в клети, держал, и выдержал. Впотьмах собак подержать не вред, лишь бы не через меру, а для чего – узнаешь. Перво, свыкаются оне друг с дружкой, как люди в тюрьме, цену себе правильную подбирают и выше своей цены уже, стало, не возносятся. К тому ж, глаза у них к сумеркам приобыкнут, а это Никифору край надо: он отродясь ночью мраком куриным мается и сахар варёный кусковой сосёт, как лекарство, хотя, не сказать – глаза вовсе выколи, а не видит хорошенько, как другие, и охотник из него не то чтоб хреновый, а вовсе даже никакой, кабы не собаки. Ночью чего не бывает; день-от зимний, как хвост у зайца, ворочается Никифор до хаты с объезду когда невпроглядь заполночь, когда утром, а когда

и на какие-сь сутки, как погода прихватит. Вот и нужны ему пособники, как поводырь слепому, вот он их и воспитывает на тёмное время. А хоть бы и днём. Человек, он, конечно, в свету глядит подале собак, зато вблизи у неё метче прицел. Ну, а третья польза, - что берут оне в малый свой рассудок, вроде клеть хозяйская - весь им до копейки белый свет и дале клети ничего нету, один шум посторонний.

А как привёз он их на зимовку, как выпустил на волю, как глянули оне на небо, на солнце да круг себя - одурели со страху, до кучи сбились, хвосты дрожат, не знают, чего дальше. И очень всё просто. Ежели человека в смарном чаду возращивать и моментом на свежий воздух выпустить, так с ним или разрыв сердца будет, или взмолится Христом-Богом: "Возверни, - скажет, - меня, иде взял, потому смар и чад мне родней родной родины". И собаки тах-та. Скулёж тихий и плач - беда. Туточка Никифор выручил их громким голосом, чтоб не вусмерть пугались, а в голосе у него бодрость и смысел: "Что оробели, робятки! Покуда я с вами, ничего не бойсь!" Тах-та оне и сами опосля думать привыкли: "А и правда,чего робеть-от, ежели Никифор тут-ка". И стали самостоятельно разбираться: нос в гору, отколь чем пахнет, иде чего находится и каково оно из себя, столь обширное благоустройство, тоё земляной шар. А Никифору только и надо, чтоб оне самоё свободу от него в награжденье приняли и зимовку почитали б, как дом спасенья своего.

Это чтоб у них произволу не было, когда без Никифора доведётся, и место своё чтоб знали. У него рослая упряжка вовсе на лето

остаётся, а – ништо: полюют, мышкуют, не дичают, домой собираются, науку помнят на память. Молодых от рослых он отдельно держит, – неинтересно им в одной клети, а кормить не кормит ни тех, ни этих: мяса у него летом в обрез на самого, пущай сами себе по тёплу пропитанье добывают, а в сани пойдут – свой кусок трудовой заробят. Ну, оно не враз тахта: "Не стану, мол, вас кормить, хоть вы передохни все, какое мне дело".

На азбуку он им полведра полёвок-мышей живьём схарчил, – учись читать: запах, след, нора, лапами гребсти, зато опосля вкусно. Выучились, ноторели, живокровного в рот взявши. Подростками хомяков тундряных брали. Рыбы спробовали – тоже сойдёт. А в осень споймал Никифор утей, крылья им обкорнал, чтоб не лететь далече, и стравил. Вот иде охота была развесёлая, лаю-от послушать молодого! Тах-та оне ума набрались помалу, что в природе про всякую тварь припасено, потрудиться ежели.

Рослые собаки тоже учителя на свой лад. Молодых обнюхали, спознались, кого лизнули, кого пихнули, на кого гиркнули, а обидеть – нет; очень понимают оне, рослые, малых, и наука у них – подражанье. Ну, до того с людьми схожесть, даже не разберёшь, кто у кого первей подражать выучился, – люди ли у собак, собаки ли. Промеж родителями и детьми у людей как? А вот так: "Я, сынок, краду, и ты, стало, не попадайся; я тах-та ловко того-другого облапошил, и ты учись; я пью, и ты привыкай". Собаки – всё в точности: "Я делаю, и ты делай; я тёплый след взял, и ты умей; я рыбу из воды вынул, и ты себе вынь, раз-два обкупнёшься – научишься, кормись".

День ко дню да собака к собаке и получается сельсовет. У них тоже водятся что лены, что хитрованы, что взгальные, но не как середь людей, потому – взыск равно для всех строгий: за общий вред гуртом бит будешь; за пакость собачью никто тебя с-под хвоста не понюхает; а через лень свою сдохнешь за лето, как Никифор-от кормить бросит. И ещё: робят малых привечай, почтуй; суку не трожь, она тебе не ровня; чего с кем не поделил – подерись, да не по людски до крови, до смерти, а до верхней силы. Взял, так взял; нет – подожми хвост. А ежели супротивник загодя на спину лёг, живот показал – дай живота, отступись, лежачего одни люди бьют, не всему от них учиться. И над мёртвым не глумись, а понюхал – уйди без злобы; это у людей мода, – пока живой, не знают, куда нюхать-лизать: "Ах, дорогой наш товарещ, да синпа ичный какой, да тебя народ пуще себя любит", а помер – говорят: "Подлец, сукин кот, тах-та ему и надо, подлецу, а мы и не знали, думали хороший". Такую-от переменчивость собакам вовек не понять и – добро, а оно и людям не худо чему доброму у собак поучиться.

Возрастали оне на просторе незаметно и подравнялись один к одному, тах-та за полсобаки к году вымахали, а что резвости, да прыти, да силов у них прибыло, хоть нащупь тронь: бабки, грудь, спина – всё. И перезимовали не в убыток, и лета дождались, а к новым заморозкам достигли полного роста, жилы поднабили, одна кость у них оставалась хлипкая. И пришла пора учить их на специальность. Построил он их парами, запряг; какие покрепче – спереди, послабей – сзади, и дал

волокушу тянуть, жести кусок, весом к саням гружёным, чтоб доразу в привычку, а сам с ними бегал и командовал: "Паняй, "Стой!", "Право!", "Лево!" – такие все слова.

Собаками править – вожжей не нужно, потому – способность у них жуткая глагол понимать и выходка человеческая: кому одного пинка достанет, кому два, а кому вовсе ничего. Смысел слова им достигнуть – всё одно что зайчиное рёбрышко хрустнуть на зубец. Не иначе – свыше это у них, боле неоткуда, а Никифор-от какой ни есть, а ума у него додуматься хватает, что собака опосля человека лучшее у Бога произведение. И в приказ оне входят не хуже нашего, абы слова были короткие, не трали-вали всякие, а чтоб ты им "Пра", а на "во" оне уже морды куда след поворотили, – тах-та. Всего трудней им слово "Цыть!" далось, на случай в засядке сидеть или тишь лесную с верху до земли вычуять. Туточка оне причины мертво сидеть не смыслят и долго не подчинялись, особо кто с игручим характером, да Никифор, он – щедрый, у него дранья и заушей столь припасено – ого! – сразумели. Теперь гляди: ставил он их без образованья, а чуток погодя – диплом им всем выдавай. Только ноги у Никифора с тоё науки гудят день и ночь; шестьдесят-от ему, Никифору, не убегаться, как по-молоду.

Ездовые собаки – нету их лучше, а всякая порода на свой манер. К примеру, охотницкая. Этой зверя под ружьё нюхом выганивать – распрекрасное дело; как завидит хозяина в полной справе, радость из неё прёт – не удержишь, прямо те плясавица на свадьбе, что ей ныне день такой всласть порыскать. Хоть бы Форта

взять: ведь какой пёс, вечная память, одарённый был да разумный. У ездовых, конечно, по-другому: нет у них охотницкого талана, а есть талан трудящий. Ничего боле не надо, а дай-от им человеку подсобить в труде, да он, человек-от, за то передых даст желаемый, да по имечку кликнет, да рыбой-мясом наградит из собственных рук, да снег промеж когтей набитый вычистит, да слово какое скажет. То-то у него доброты, у человека, то-то правды! Как же им тах-та не размышлять по-милу, по-любу? Он и плану им в перегруз не даст, - знает, что оне, как он: дал насильный план - своего не добрал, послабил - три плана взял, во-как! Оттого-то середь других, у кого один план с грехом пополам, а у Никифора - сам-два, сам-три. Оттого и зубы в роте у Никифора на полторы тыщи блестят - госбанк! И Кулина, жена законная, сроду тяжкой мужицкой работы не робила, как другие, равноправные. И детей у Никифора семь душ, а всех возрастил с толком и на верных людей вывел; живут теперь, да письма шлют, да "тятей" кличут, да со внучатами когда-когда наведываются. Нешто бы мог он тах-та один на себе семью поднять? Нешто бы сладил он при нынешнем-от воровстве огульном восемь ротов, окромя своего, честным трудом прокормить? Ни в мочь! А всё оне, собачки. Щербан-приёмщик, как заявится, картавец, по воздуху за смушками, так по часу и боле на никифоровских собак глаза пялит и выражается непонятно: "Плетьяковская галилея", говорит.

3. ИМЕНА

Самая морока имя собачке определить, до двух годов-от мороки. За такой-от срок любого-всякого спознаешь, хоть он лиходей, хоть правильной жизни человек, хоть шпиён заграничный, а собаку - мозги высохнут, а нечего придумать, - тайна в ней сокрыта великая, разгадать надо. Тут-от требуется, чтоб словом в самый разрез ударить, чтоб имя само к собаке прилепилось, как тавро пропечатанное или фамиль у Никифора и даже ещё точней. И не спеши, а то ошмыгнёшься - век жалеть будешь за спешку тоё. Никифор не спешит и нарекает их тах-та натрое: масть, повадка, характер.

Нарекать-то он нарекает, а сам от начала до скончания Форта ищет разлюбезного, памятью мучается, душу бередит, как только не покличет: "Форт, иде ж ты есть, друг милый? Отзовись маненько, дай знать, тряхни хвосточком, голоском выведи, - я те за то кусок не в очередь кину". А его нет как нет. Оттого печалится Никифор и думает: "Добро людям, их всех заменить можно, а собаку - спробуй, замени. Нет им замены, собачкам-от, все незаменимые, хоть он какой, хоть подлец предпоследний, а - незаменимый, потому как один такой и лично единственный. Тах-та и не нашел он замены Форту, сколь ни искал. Побьётся, побьётся рыбой об лёд и обозначит по стати Фортом одну в память вечную. В каждой упряжке у него по Форту бегает, а другие - все разные неповторно. Упряжка вылупляется головой, ровно из яйца курёнок проклёвывается, и вожака видать скоро. Никифор глядит,

как оне скубутся-сварятся, а сам предметит: этот-от, рябой, первый шматок берёт чаще прочих; здоров, силён, издаля прикидист, всех крепче, характер серьёзный. Ну, вожак, стало, Рябко звать. А этот, что второму куску хозяин, всем хорош, да волчишка, весь выводок был такой. Он его у пастухов на случай раздобыл, а суку ихнюю волк обгулял, сынок в батю удался и мастью тоже - туман ростепельный. Никифор взял его для интересу и веры ему нет, - порода сама себя кажет: нехорошо задумчивый, глядит в ощур, шеей не вертит, в голос не тявкает, жрёт молчком, проворство лишь в драке и бесстыжий страсть, - других по животу бить норовит, прямо, значит, по собачьей совести, и бесстыжесть эта у него в крови. А раз так, то: "Не лезь! Не лезь! Не лезь! В третьей паре, Сявый, пойдешь! Шестой кусок твой будет, попомни!"

Коль имя дадено, можно разговаривать, только не забудь сперва собаку покликать, а потом говори, - пущай знает, что об ней разговор, пущай слушает да стыдится или гордится, это - как заслужила. Акафист-рацею им вычитывать ни к чему; не любят собаки пустословных людей, уваженье теряют, ежели без разбора перед ними языком трепаться. Собака требует, чтоб с ней всегда лично и по делу. Такой-от разговор ей пуще мяса, потому - собак много, а Никифор один и слова у него обнакновенно понятные, когда лично, хоть он про погоду, хоть про что хошь, а в голосе у Никифора всё ясно, как Божий день. Конечно, есть слова общие, для всех, но это - когда санки таскать учатся.

За первый кусок спорил с Рябком и Сявым ещё один: рыжий гвардионец, подпалины светлые, собой красавец золотистый из полымя вынутый, – ну, прямо на выставку. Передняя кость сызмалу в развороте – медали цеплять, – спина – угадай какая могучая и тягловая, на ногах стоит – не тах-та свалишь, один вид – ахнешь поглядеть. Никифор понадеялся: "Вот заместитель будет Рябку добрый. На тебе, Замполит, второй-от кусок-аванец. Ты мне за него первой парой пойдешь – рассчитаемся". А получилось – не заместитель, а от чёрта отрывок, расстройство. Такого аспида, такого лена и сволоча Никифор в жизни не видал и корил себя опосля за промашку на чём свет. Ужотко драл он его, пинал, голодом морил, паскуду непутёвую, всё отвадить хотел и – без толку. От одной подлости Никифор его отучит, а у него про запас две новых: тамотка украсть, тут-ка обдурить, там-от ванюшей прикинуться, а до работы приспело, так вовсе, падло, вымудрялся. Сбил его Никифор сперва в серёдку, задней Сявого, а потом в самый край, чтоб достать сподручно. Одно слово, хамло, а не собака. Тах-та опростоволосился он с именем, рано не ко времени назвал, а на попятный двор нет ходу, заказано.

Нарёк собаку – переменять поздно. Это у людей, переиначивай сколь хошь: даве Царицын, намедень Сталинград, ныне Волгоград, а завтра чего ещё будет – поглядим, какой-от общественный делатель дуба даст. С собаками тах-та нельзя. За такую-от несерьёзность собаки помалу с-под власти выйдут, подчиняться не станут, потому – какие ты им властя, сам посуди, ежели у тебя на неделе семь пятниц?

Животина, она верит без расписки, её обмануть – всё одно, как от слова отступиться, а собака – тот же слепой, свою палочку один раз отдаёт, а в другой раз – хрена! Так и Замполит. Хоть он и дерьмо, а менять прозвище не имел Никифор права; собаки враз привыкают к названиям, что к своим, что к чужим. Ты, сказать, собаку окликнул и за чего-сь отчитал, а другие до одного знают, кого ты лаешь и пошто, кумекают, стало, что хорошо, что худо. С того-то Замполит Замполитом и остался.

А как привёз он их на зимовку, да как разгулялись оне... Во иде характеры проклюнулись! Во иде прошибки не бывает! Во иде упряжка предбудущая строится! Этот, что шерстью жесточит, цепкий какой, уцепился рослому ездачу в подгрудок и волочится, а жомы не разомкнёт. Ну, Тхор, значит. Или девку взять с конопинами попереди, смиренькая. Не столь у неё понятие, как послушность: как другие, тах-та и она. Уж он потешился, как волокушу оне таскали: ну, чисто доярка на собрании голосует; за передней парой в оба глаза глядит, как на прозидим, – чего, мол, там властя ручкой робят? – совсем характер калужский. Тах-та ей, значит, и быть – Калуга. Да, еще этот, который всех не обнюхает – жив не будет, ровно обзнакомливается что день или справку наводит какую – Спектор звать. Двое кобельков у него было, близнята, от одной суки. А Никифор, еще когда в городе жил, два слова слыхал интересных: "Пардон мадам", и запомнил. Туточка оне ему и сгодились. Пардон сильный пёс вышел, муружистый, завлекательный. Мадам, тот блёклый и

послабей, а драчливый за двоих, всего боле к брату насыкался, в одной паре нельзя было держать. С того Пардон в самый перёд ушёл, а Мадам ближе к Никифору остался.

Легко дело – полнарода знаемо; говори теперь с ними в полную свою надобность. И битьё по строгости стало с разбором: всех боле Замполиту перепадало, а Рябку вовсе почти ничего, он – главный, и Никифор ему авторитет соблюдал, организацию; что Никифор упустит – Рябку выпрямлять, и выговор ему первей всех. На выросте стравил он им пару зайцев. Один утёк, а другого чалый кобель взял и повадку выявил. Никифор его мигом во вторую пару переместил и назвал Борзик, потому как чисто борзой пёс, что прыть, что бег, что посыл; морда, верно, туповата и поджарость не та, а тах-та – чисто борзой. А то у одного голос объявился певческий, не голос, а сказать – не сбрехать, благовест на Троицу Пресвятую, – прямо те луна звонким эхом по-небу рассыпалась, а ты, Никифор, слушай-смекай, в самую точку про него сказано: Сигнал.

Никифор тоже: учить-от учил, выходки познавал, имена присвоял, а и сам от них чему учился. Человеку, оно, конечно, невмочь вникнуть до донца в собачью жизнь, а всё ж много можно понять, ежели правильно себя поставил. Вот возросли оне, в смысел вошли, а – своя компания, дела тоже свои и невдомёк Никифору, что за дела за такие. Тут, перво, не встревать, не мешаться, пущай сами порядок наводят, никого не касаемо. Оне знают, чего сообща робить, а чего промеж себя в сторонке.

Сказать-от, Сявый. То вовсе немой ходил, а к двум годам надумал именины справить, ди-

кую песню сыграть, волчиную. Жуткая песня получилась, и собакам от неё тоска. Побили оне его раз, побили ещё, бросил Сявый концерты, сразумел, – голос не тот. Или Замполит. Собой кобель хоть весь его заместо картины, а гад всеобщий. Один на один с ним не всяк сладит, так оне скопом его, свет не мил, как лупили. Одно непонятно: как же так? Оне ж предметили его, холеру, раньше Никифора, а досмерти-от не забили. Лишь поздним умом додумался Никифор, что нет у них закона смертельной казни по таковому размышлению: "Жизнь, мол, святое дело, не я тебе её дал, не мне её у тебя брать". Собаки насмерть когда бьются? Разве за жизнь, а за тоё кто биться не станет? Ну, ещё люди по подлости по своей стравят на потеху – тоже. А чтоб тах-та, полюдски, взял да убил, – не, не видал Никифор у собак гнуси такой-от.

Драк у них по всякий день. То Сигнал с Борзиком сцепятся, то Пардон с Мадамом. Близнята, одна кровь, одна утроба, обе собаки стоющие, поди разбери, чего спорят, какую матерню сиську не поделили. Разборони их Никифор – оне вдругорядь передерутся, накажи – он же виноват останется. В таком-от разе Никифор мыслит, как в яблочко: "Не моё дело, пущай. Небось, глотки не порвут, уды не откусят, рёбра не поломают, а ранжир порядку не помеха". Что правда, то правда: не было у них резни или увечья, потому – не на полную силу между собой грызутся, а с пощадой. Умом-то оне, как люди, не обижены, только люди-от в драке ум теряют часто, а собаки – нет; стало, собаки на свой манер умней. А Сявому не давала биться Калуга, знала его

привычку гадскую брюхо рвать и не давала. Чуть он пустил воротник ершом, она в промеж лезет к нему мордой и не отходит, пока он не заспокоится. А он хоть и волк, а суку эту тихую слушал и в паре ни с кем ходить не желал, только с ней. И всегда оне чуток от всех на отшибе.

Потом Ветерок с проседью. Кудлатый, кручёный, шерсть у него какими-сь вихрами наперёд задом росла, ровно из пурги выскочил или за хвост волокли всю дорогу. Старательный пёс, работник честный, игручий только безо времени. И сука была одна тёмногнедая, до того нервенная ведьма, злющая, что в поле, что скрозь, – ну, не угодишь, а без скандала не может. Что многих она обидела понапрасну, что от неё другие безвинно терпели, – окромя Замполита разве. Этот ракло к женскому полу ни грамма жалости не имел, катал её, как рубель каталку, а она опосля плакалась тоночко на милостыню. Её-от Никифор всего и пришиб раз-другой, – куда её бить-от, дуру психовую, её лечить впору, да тут-ка нешто больница? Никифор гладил её по шерсти и уговаривал: "Ласка, уймись, охолонь, стерьва припадочная. Ласка, не трясись", и тах-та пока она трястись не перестанет, а это тоже не дело. Он всё сомневался: "Купил-от пан собаку, а гавкать, видно, самому придётся. Как же эта сатана работу робить пойдёт. Она ж на третьей версте из силов выбьется, – клади её в сани с чернобурой", и хотел извести, но решил погодить, сказалось – правильно. Утишилась Ласка помалу, а в упряжке пошла – вовсе вылечилась, потому – работа всем одинаково, что людям, что собакам, наипервеющее лекар-

ство, кто понимает. Простым-от людям, какие дурью не маются от безделья, про то известно: как горе какое или беда неминучая, или мысли сумные, берись чего робить и – глядишь, сам не предметишь, как на поправку пойдёт. И Ласка. Такая-от собачка получилась добросовестная, Никифору самому не верится аж.

Под конец пошли характеры, какие не враз понять было. Эта, что полюет всех доле и в упряжь последней идёт, вечно блукает иде-сь, Никифор её ждёт-пождёт, да опосля силом в шлею пропихивает. Сука как сука, а гулёна без примесу всеобщая. И повадка: всё одно с кем возжаться, кому крыть, кому подставлять. Прямо сказать, нашая баба, шлёндра общественная, тах-та ей и жить Шлёндрой. Другой заявил в себе силу, как у вола, непомерную и дурость такую ж, – глупей Калуги. Никифор вдвое терпенья на него положил учить, да к тому ж – нерасторопный: сам бежит, гузно вбок заносит, вроде легче ему тах-та. Это – Потап. Ещё – подхалим пеговатый: что Никифор к нему промашку взыскать, то он либо ползком лизаться, либо на спину – брык! – морда холуйская, на-халяву пузом кверху прожить норовил. Никифор его за то внахлёст лозиной по брюху стегал и внушал боем: "Уважай, не полозь! Уважай, не полозь! Уважай, не полозь!" Этот приказное имя получил – Уважай – и отзывался на него добре, а натуру сквозную Никифор ему толичко наполовину выбил; уж больно ласковый пёсик, дай Бог нашему телятке волка съесть, Никифор не любил таких-от, панькаться с ними. Да и послабей иных он был, дуролому Потапу в самый подпряг. А прошибся Никифор на этой собачке, не дай Бог,

как прошибся, какого пса незаменимого проморгал!.. Ну, Форт – сам по себе. Конечно, куда ему, Форту новому, до тёзки своего покойничка, а все ж таки вид имел осанистый, строевой и потому – Форт.

И ещё один остался, последний. Девочка он был чёренькая, спереди латка светлая и ноги со щиколкой в сметану кто-сь обмакнул. Признака в ней никакого с первого дня самого. Никифор её за масть взял и тоже кормил-каялся: станет ото всех особо и стоит, на жратву не кидается, свар не заводит, ждёт, сирота казанская, остатний кусок. А остатний кусок распоследней собаке доводится. Тах-та она сама себя определила: ни рыба ни мясо, – ну, в крайнюю, стало, от хвоста пару. Лишь опосля вспомянул Никифор, как она стояла и каково глядела, и жрала своё как. И как ни один-от не пробовал силом отбить её остатний в очередь шматок, даже Замполит оголтелый, пока она не выросла и пока Никифор её точней не запредметил. И гораздо вспомянуть пришлось, как рослые собаки на зимовке нюхали её впервой и оглядывались непонятно: "Что, мол, Никифор за чучелу сюда-от привёз, на что она, мол, туточка?" Оттого и с именем он не спешил, знал: последней собаке всяко слово сгодится.

4. АСАЧА

А как до дела дошло, с Замполитом крупный наклад. Никифор не с дура-ума зарубку на него имел, что путём не обойдётся, – и не обошлось. Ну, ледащий, подлюка: от кого произошёл, ракло, невесть от кого, только не

от путной собаки, – не хочет робить, дармоед, хоть ты что.

Перво он в серёдке ходил. Нет, на глаз не угадаешь, тянет, вроде, как все, и лучше. Вот обратает их Никифор, крикнет "Паняй!", оне и пошли с какого-сь раза на-совесть, на талан: постромки струночко, слабины не дают, не рвут, не дёргают, гладко всё. И у этого арапа тоже кругом порядок, а старательности даже поболе других: как-никак, трудяга, через своё ж грызло из шкуры не выскочит, работящий такой. А того, тварь, не соображает, что след-от по мягкой тундре у него вовсе лживый, потому – не пружит, не дуется, кому-сь памороки забить собрался: "Пущай, мол, дураки робят, а я, умный, махать всех хотел через себя". Драл его Никифор несудом, все руки отбил, и впокат ногами отхаживал, и жрать не давал, и слова, какие знал похабные, все на одного его, змея, сразходовал, а под конец мочи-терпенья взял его за правильник и ножиком хвоста маненько укоротил, думал, поможет. И не жаль трудов, кабы впрок, а то ж – надсмешка! – к новой подлости, хамло, приспособился. Умнющий был, рыжая курва, да не туда ум свой производил, куда след. Научился твёрдо от мягко разбирать, аспид: "По снежку я тебя, стало, Никифор, прокачу, а по насту сам на тебе поеду". Во, сатана, вытворял, чтоб ты сдох.

Отчаялся он с ним вовсе и сунул его в конец в самый, в последнюю с чёренькой сиротской пару, чтоб его, стибулянта, близко достать было. Тут-от его хитрость разом чего-сь покачнулась; до того не хотел соседства, прямо на диво: выкобеливать стал, огрызался,

гыркал дурняком, а потом упёрся, охромел, заюжал, страдалец, и тряска его мелочко продрала. И потянул, потянул, да каково ещё потянул, морда наетая. Никифор проздравил его с трудовыми успехами супятком под гузно, потому – злодей природный, скотина без креста. "Ну что? – спросил. – Не ндравится честный кусок зароблять?" И отвернулся; пущай знает, что весь его взгальный норов Никифор через ноздрю длинной соплёй по-за ветром фукнул. А чёренькая – ничего себе псинка, совсем ничего.

Он уже тогда по третьему году псюрню свою муштровал, а она тах-та и осталась, вроде нужды нет: ни позвать, ни обозвать. Кабы она цапалась или блажила, или неслух, или пакости что-ль какие, оно бы предметней, а то – нет и взыскать не за что. Середь других навроде своя, а приглядеться – посторонняя. И масть посторонняя, и выходка, и собаки её не то боятся, не то связываться с ней жалкуют, не то гребуют или чужесть в ней чуют далёкую – не разберёшь. Тах-та смалу никто её не трогал, ни куска отбил, ни дорогу переступил, ну, и Никифор тах-та со всеми. Оно, конечно, как она остатняя и послабей, и прозванья нет, её и предметить трудно, и кнут ей в последний черёд, – таково Никифор соображал по привычке, а покамест он соображал, возросла она в полную силу и изо всех одна ни разу не битая вышла. Прошибки у неё никакой, подумаешь – мудрость науки превзошла с первоначалу и от матернего молока поболе Никифора умеет: только-от он команду сказал, только голос-от подал, она уже знает, чего велят и тоё команду сполняет ать-два, как на плацу.

Ну, прошлогодним умом смекать все мастера. И Никифор не хуже кого-сь опосля доспел, что превосходная она изо всех собака, и цены на неё запродажной покуда ещё не выдумано, и не было таковой собаки на всём Далёком Востоке, и у японцев тоже не было. А хоть и была, так что? Особый талан, он повсегда неприметный, не нахрапом берёт, а чудным явленьем, и пока ты на чудо дивовался, рот разевал да скрипел середним своим умом, да на пальцах прикидывал, что к чему, талан с голоду-каторги не своей смертью помер, – не обидно? Скрозь тах-та от веку, что у японцев, что у нас, только у нас еще хуже. Вот и Никифор покуда своим умом сдюжил сказать, сколько времени прошло.

Того он и осерчал, а как не серчать? – все битые, одна она – нет. С того и зло в нём возгорелось, а это такая зараза прилипчивая, зло, дай-от ему волю, попадёшь в неволю. Ну, решил: "А вот возьму и побью; сейчас-от возьму и побью; мало, что без причины, зато для счёту". А сам навкось на неё – глядь! Тут те и предмет: уши стремя вгору пошли, губы тронулись, ножи в чёрном роте блистанули и шерсть на холке дыбом-ерофеичем задралась, ровно шепнул он ей на ушко: "Сейчас тебя бить буду". А Никифор, хоть он у собак за учёного, а тоже от них обратной науке учится. Животина зря грозить не станет и зубы у неё не для шутейства; раз она их кому показала, тот пущай побережётся и век помнит: страх и смех у собак на хвосте, а на морде совсем другая прописка. То-то, чёренькая! То-то, смирненькая! То-то, тихий омут, чертей полно!"

И не сказать, "забоялся, мол", чего ему бояться? - поостерёгся да и только, а поболе того чудно: иде слыхать, чтоб скотина мысли прочитывала? Кто дела не знамши, скажет, поди: "Приблазнилось Никифору чёрт-те что и кочерга прямая". А какой тут - "приблазнилось"? Он бы и сам рад для души спокойства заявить: "Собаки, мол, все до одной, ума нету, а чему обучат, то оне робят безумно и в любой момент, как машина", да нешто это правда? Люди-от по глупости большую промашку дали насчёт этого дела и по нынешний день, туды их всех поделом, никто сразуметь дурость свою не хочет.

Никифор тоже не хотел, и было ему наваждение. Почуял он, - кто-сь ему в спину дозирает, следит за ним, глаз не сводит, тах-та настырно сверлит, ровно бурав какой. На людях-от оно всё просто и с каждым бывает: идёт человек своей дорогой, посередь людей пробивается, а жилой сердечной чует: чего-сь у него неладно, кто-сь его сзади глазом подгоняет или передерживает, или походку ломит. Он туда-сюда - зырк! - и поймал, а тот, другой, не успел отворотиться и сам теперь, как зверь в ловитке, крутится. Но это на людях, а когда ты один и круг тебя ни души, ни лялечки, так хоть "Караул!" кричи, кабы голос. Это жуткость называется.

От жуткости человека нутряным холодом обдаёт и он мёрзнуть начинает: шеей, плечьми, спиной - всем. И волосья у него, как живые становятся, каждую волосинку чуть, хоть считай, сколь их растёт на тебе. И пот тебя прошиб, а он ледяной, склизкий и вонючий, потому - у страха свой запах, человеку недо-

ступный, а зверь его мигом чует и ты на зверя тах-та лучше не иди, - пропадешь. Одно только лекарство есть вонючий страх забить: отчаянность. Трудно это, - как бы вроде ты сильней самого себя стал, - немыслимо. У тебя по спине муравли ползят, а ты шагу-от не сбавляй; волосья побелели от смертельной тоски - ништо, кидайся вперёд, про жизнь не думай; душа захолонула и из груди в ноги спустилась - не подавай вид, зубами скрипи, грозись всем врагам. Тогда страх с тебя спадёт, а смелости прибудет, а у смелости, как у правды, совсем другой запах - чистый, здоровый. Зверь его тоже чует.

Три жуткости Никифор имеет в жизни. Самая жуткая жуткость - биографь писать. Как его, увечного, за дезентирство судили, дал ему следыватель бумаги, велел: "Пиши". Он час-два посидел, написал: "Никифор Беспалов фершар", а боле ничего не придумал. Следыватель посмотрел на Никифора и говорит: "Дурак, фершар, сундук еловый, брысь-пошёл!" С той поры, как ему приснится биографь писать, тах-та он с криком прокинется и долго от жуткости лежит, отходит.

Другая - человека в лесу встретить. От такой-от беды Бог миловал, а случай был. Двое у него из ловитки сырьем куницу выжрали да наследили, да недокурок кинули, так он на тоё недокурок, ровно на змею глядел ползучую, было замёрз от жуткости, оглянуться не стало духу.

Третья жуткость - чужой глаз на себе почуять. Переборол Никифор сам себя, трепыхнулся отважно, глядь-поглядь, куда идти, на кого кидаться, лишнее всё долой, рука - хвать! -

за ножик, раскашлялся нахально и геройски задницу почесал, а никого, окромя собак, нету. Выгнал он из нутра страх одним духом, залаялся, а на собак даже не вникал. Такое-от вытворять собака не умеет, это человеку глазами на чего накинуть, что те пальцем ткнуть, а у собаки в глазах от роду не точка, а участок. А как в одну точку ей глядеть долго нельзя, то она по участку тому без перестану зраком стрижёт всю местность на поворот головы, чтоб на случай живность мимо не проскочила или для жизни опасность. Тах-та неприютно Никифору было и мысли неприютные, и раз, и другой, и третий, прямо хоть брось. Потом надоело; набил мозоль на горбу, перестал оглядываться.

Оно бы лучше скотинку чёренькую по времени назирать, чем по памяти, да кто ж знал? И назирать было чего. Ласка, кликуша хуторская, смирела пред ней; Потап на живость характера бил, хлюст разлапый; Уважай на спину не падал, ползун лизучий, бодрился; Сявый, тот её обходил, и Калуга всегда промеж ними тёрлась; Замполита на выпряге предметь от неё подале; Рябко, как в авторитет вошёл, всех-от продправлял маненько, окромя её. А Пардон муругий, тот жалел её за родную душу: как без дела, так близочко топчется и мышкует иде-сь рядом, и спит сбоку, а это перво-наперво: с кем собака греется, он и есть ближний. А то возвели напраслину: суке, мол, всё одно, абы кобель. Какая сука, какой кобель. Никифор с ними полвека прожил день в день, повидал: у любого свой разбор, кто кому подходит, тот тому и родство. К ней-от поваживались и Си-

гнал, и Борзик, и Спектор с Ветерком, а остался один Пардон.

Глянул он на неё тах-та в день ясный, вёдренный и одурел: не собака перед ним, а девка на выданье, королевна-свет-барыня; на ногах белы носки, на руках рукавички по локоть по самый, на спине тёмна ночь, а на груди уже утро. Как зашлось-от сердце у Никифора; как зажмурились глаза от красы дивной, нестерпимой; как душа воспрянула да мало не вырвалась, кабы комом в глотке не зацепилась, - не стало чем дышать. Взор смелый; шея, - птицу-лебедь видал? - такая-от; спина гибкая; в груди порода; хвост пышный наотмах кинут: вона я какова удалась, робята, красуйся на меня, кто хошь!

Проморгался Никифор, дыханье управил, стал соображать. Туточка пришла ему красота иная, давешняя: речка лазоревая, берега лесом рисованы, вода, как скло, а по воде облака, а в облаках рыба плавает и голова маненько кружится. Никифор тогда молодой был, с Кулиной гулял, мечтанья у него были разные и полна голова цветов, вот ему и запало на память - речка. Название только забыл. Красивое, а забыл. А тут - на тебе! - выскочило: Асача. Схватил его бегом Никифор, как в охапку, а чтоб оно не вырвалось, крикнул, сколь духу было: "Асача!" и подождал, пока оно по лесу не раскликнулось дальними голосами. Потом собаке сказал, но тихо: "Асача!" - нарёк, стало. И ещё позвал он её тах-та, а голос у него тёплой волной перебивался и сердце на нитке зависло, как в небе жаворонок: вот-вот упадёт, вот-вот оборвётся.

И стала упряжка сполна. Вот оне какие и всяк на своем месте: попереди Рябко, а за ним парами Тхор с Пардоном, Борзик с Ветерком, Сявый с Калугой, Сигнал с Лаской, Спектор с Мадамом, Шлёндра с Фортом, Потап с Уважаем, Асача с Замполитом. Справа на них простая: шлейка на шею ладится и под грудки перехват-супонькой выходит, да поперёк спины подпруга, а от упряжи постромка к санному потягу и получается, вроде собака в штаны передними ногами заступила. Надеть собакам штаны умеет один Никифор, потому - упряжку застегнуть надо, а скинуть упряжную оброть умела ещё Асача и скидывала. Чего она робила и как, Никифор не предметил, думал, это он сам её растого, рассупонил, только память отшибло.

Может, оно и лучше. Ежели б он всё до разу видал, да одно к другому повязал, невесть чего было б. Как-никак, а Никифор над ними властя. А властя нашие претикословья не терпят и закон у них один: "Я сказал и - всё!" Терпеть собаку умней себя - четвёртая жуткость.

5. ОБНАКНОВЕННО ПОДЛОСТЬ

Её зовут по-разному, а всё одно, как ни назови, хоть горшком, хоть корчагой, а она тах-та и остаётся - подлость; каши в ней, правда, не сваришь, а в жизни без неё никуда. Никифор-от для души спокойства тоже думает: "Чего ж туточка подлого? Все робят, и я со всеми". Ну, и сотворит чего-ничего. Кабы оно во вред, тогда конечно, а пока хорошо, ни один про себя не скажет "Подлец, мол, я". И

Никифор не скажет, покуда не дошкулит его до живинки, не проймёт.

Такую-от подлость обязан он собакам по третьему году учинить; оне, собаки, к трём годам набираются крепости и твердеют костьми, но характер у них ещё зыбкий и ума прожиточного не хватает. По тоё их молодузелену задаёт он им науку, пока не переросли, а наука у него маненько подлая. Собачки – народ шибко совестливый, и Никифору надо, чтоб замарались оне и были б перед ним виноваты. Как замараются, – что хошь с ними, то роби: весь, режь, стреляй, на всё готовы, с-под власти вовек не выйдут от переживаний: и вспомянуть тошно, и забыть никак, и сразуметь невмочь, что не в собачье дело он их втянул, а до людской образованности возвысил. Тогда уже и дисциплина у них нашая, и послушность, и всё, а Никифору того и давай: свободу он им через себя предоставил – раз, совесть поранил – два, и самочувство у Никифора, – как царь и даже ещё лучше – три.

Есть в этой выучке тонкая нитка, – рвётся, как перетянешь, а прямо сказать, – характера у них хватает на одну подлость всего. Поболе того захотел – поберегись: бросят собаки совесть как им ненужную и такой-от бардак разведут, – никакого сладу. С бессовестными собаками жить куда как трудно. Никифор однова перестарался да чуток живой выскочил и пришлось ему новых заводить, а бандюг бестыжих – всех под корень, туды их поделом, и на погост. Робится подлое дело с утра и по горячему, чтоб собаки не долго думали, иде чего, а тах-та – хлоп! – и всё, думай-не ду-

май. И начинается всё обнакновенно и ненароком.

Споймал-от он им волчонка показать, кто, мол, главный враг, чтоб уже стереглись и век помнили: с волком бейся насмерть, раз на то пошло, а в плен его не возьмёшь. Волчишка им годок был, а может, мало постарше, но не матёрый; Никифор ему палкой жомы разжимал и ножи смотрел, - не матёрый, нет. Скликал он собак, сунул серого в чувал, отнес в тундру и гейкнул. Собаки-от враз пронюхали, что враг природный, кипят глотками, как-как на Никифора не кидаются. А серый растерялся, куда утекать - не знает, и биться не хочет, да псюрня тут-от на него миром навалилась, он и был готов.

Тах-та первая получилась выбраковка, потому - волк Борзика напослед по мягкому задел, брюхо откутал, - это уже не собака. Лежит волк зарезанный, рядом-от Борзик сидит, сырую болячку языком заживляет, а дырка - кулак влезет и кишки в ней розовеются рваные. Никифор враз подумал: как подлость-от когда робить, так пущай ныне, пока собаки не поостыли, а Борзику всё равно гибель. Отвёл он их подале и на подбитого Борзика гейкнул. Оне и пошли, а азарт боя им удержать, что солдату задор: убил одного, другого, третий руки воздел, "Сдаюсь!" кричит, а он и третьего туда ж, и всех, кто под руку сунется, баба - не баба, дитё - не дитё, потому - осатанел, не остановишь.

Повидал тогда Никифор, каково Асача бегать умеет. Оне, в каком порядке робить учатся, в таком и травят на ровный строй, только простору поболе, а ей в последней паре

место, а она – иде прыть взялась – всех обскакала, глазом моргнуть; летит, чёрный стрепет, землю под собой пропускает, с ветром ласкается. В другое время покрасовался б Никифор на тоё бег летучий и шибче того запредметил бы, а на этот раз, – ну, до того ему бесприютно стало, – не хотел, чтоб она первая в подлом деле замаралась, пущай бы другой кто. Не успел он тах-та пожалковать, ещё хуже вышло: добежала Асача до подбитого Борзика и дорогу поперёк перегородила, – сигай-от через неё. Другие, – кто юзом, кто как, – заспотыкались, шаг маховой потеряли и совсем уже смирные, куда азарт делся. Обсели Асачу с Борзиком и морды у всех удивительные: "Что ж это мы, робята, вытворяем такое? Это как же оно тах-та, Никифор, получается, – бей своих, чтоб чужие боялись?"

Беда дело приказ отменить. Властя про то знают, и Никифор знает. Наперво оно сходит вроде на удивленье, в другой – на неудовольство, а до третьего не доведи Бог. Ну, Никифору одного раза во-как достанет. Сразумел, что подлость вспроть него обернулась, зашмыгали у него муравли по спине, прозяб нутром, ногами жидко прослабился, но как мужик с головой, то решил кривду на правду выправлять тамотка. Собак издаля молодчиками обозвал, подошёл, спросил понятным голосом: "Ну, что, робятки, жалко, поди, товарещаот?", ровно тому их только и обучал, что жалости. Ещё постоял, сам с собой на-голос оправдался: "Что ж, мол, робить, коль тах-та получилось, мне и самому жаль". А как собаки в голос его вникли и вид удивительный у них пропал, вздохнул Никифор по-честному,

клацнул курком, попрощался: "Бывай, Борзик, резвая собачка, весёлая", и в ухо стрельнул. Потом отнёс кобелька на погост, похоронил, как положено. А Асаче сказал: "Не по прыти своей ты, Асача, назади плетёшься, в серёд пойдёшь". И пошла она, куда велено, да Никифору с того не легче: не поверила ему Асача, одна из всех не поверила, он это своим глазом предметил, - вид её недоверчивый. А это не пустяк. Это с людьми можно: "Хрен, мол, с ним, с доверием, абы робили", а собаками долго тах-та не наробишь.

Оттого развинтилась у него башка, мозги перемешались, ум за разум зашёл, стал он мараковать. "Вот, - думает, - собаки ничем нас не хуже: и ума не мене, и разбираются, и соображают, и память у них, и всё. И породы разные, как национальность: есть германцы, есть негры, а то и вовсе дикари какие-сь бродячие. И язык у каждой породы свой, и жизнь, и обиход. Ну, значит, дело теперь за малым: выведут на чистую воду нашу подлость и читай, Никифор, отходную. Перевернут всё догоры раком, своё государство обоснуют, свой наведут порядок, а какой - это и дураку видать. Форту покойному памятник поставят: сидит пёс гордый, доблестный, а под ним структор Нестерук без штан валяется. Люди, хомуты надевши, в упряжке пойдут, а собаки на санках полевать поедут и станут людей школить каждый "гав" понимать правильно. Никифор, как он способней иных собачий язык усвоять, то его, ясное дело, вожаком пустят путик прокладывать, а за ним бывшие властя попарно, да он же, Никифор, будет их при каждом выпряге учить по сусалам, чтоб

тянули, лены, на совесть и головой кумекали, иде право, иде лево, иде чего. А как государства пойдут разнопородные, то наладят, гляди, обмен людьми: "Вы, Явропа, - скажут, - давай-от нам десять тальянцев, а мы вам за то сотню русских, на каких Расея дуростью держалась, бо их у нас поболе собак нерезанных". А властьми у них будет заправлять, может, Рябко, может, Тхор, может, кто другой способный. Только навряд чтоб. Скорей, Замполит или городской какой кобель, что спит на диване, котлетами питается и раз в праздник гавкает за рафинад. И опять устроится в государстве неправильность, ещё, может, хуже, чем у нас..."

Думал он, думал, а ничего не придумал, как дело выправить. Набрал он в грудки воздуху и говорит: "Не серчай, Асача, что с Борзиком дурака свалял. Хошь верь, хошь нет, а вот ей-бо, сам не знал, покуда не довелось. Все тах-та робят, ну и я". Как он это сказал, так под рукой и прочуял: трепыхнулась Асача, всё до крошки сразумела, об чём он. И глазами оне сошлись, не раз-раз, как раньше, а встречно и на проверку. А глаза у неё карие, вострые и взгляд прямой, не егозливый, и смысел в нем Никифору глубоко недоступный, как жизнь другая. Сроду Никифор с собакой тах-та глазами не мерился, но взгляд звериный честно выдержал. Тут-ка пошло от Асачи электричество и в руку ему садануло, не особо шибко, а густым током ровным, аж под языком закислело. Побоялся Никифор долго руку на собаке держать и прибрал, но с тем-от электричеством вошло в него понятие точное: поверила ему Асача.

Это ж сказать, какой-от у зверя глаз бывает человеческий, и в глазах, как у людей, больное место, живая душа. Вот хотя бы взять, девка сидит в окне красивая – замуж бери, билетами торгует, а глаза воротит, потому – больно, ежели тыща человек и каждый душу норовит твою достать. Или шофер в автобусе едет, а у шофера зеркало, а сзади граждане, делать им нечего, так оне на шофера пялятся. Да он умный-от, шофер: материйки взял кусок и отзанавесился, а для чего? А для того, что люди разные и глаза у них разные. Есть властя, а в глазах у них – в одном корысть, в другом приказ. Есть стерьва базарная, когда-сь трёшку потеряла, белый свет прокляла и клятвы своей не сымет, пока червонец в помоях не найдёт. А то вовсе пьянчуга – пустые у него глаза, как у недоноска, понимать нечего. Только у детей чисто безгрешные глаза, глядеть в них, да у стариков, что землю чуют, благость в глазах и спокойство. А другие позакрывались чёрными очками и жизнь быструю, ровно из тюрьмы наблюдают.

Деликатный народ – собаки, в глаза редко заглядывают, разве что запрос какой или окликнул, а тах-та, чтоб долго... Ежели же она на тебя долгим глазом накинула, ты собаку тоё предметь и попомни: эта собака умная. А что глядит, значит, право заимела. Ты кто таков, – рожью сеешь, ложью сыт бываешь? Чего ж ей-от на тебя не поглядеть, ежели она тебя во-как раскусила. Вот и думай, коль ума хватает.

6. СЛУЧАЙ

Чувствительный человек Никифор; чувствует много и думает много, – это у него от природы. А чувствительному человеку, как душой-от он природу обхватил, даётся за то понимать, каким-таким разуменьем жизнь устроена: земля – плоть живая, горы – костяк, реки – жилы, лес – волосья, а по плоти да в волосьях всякой живности есть за что зацепиться. Тах-та и до Бога недалече, и приходит Никифор к нему не книжной премудростью и не чужим разумом, а сам по себе и по своей воле, потому как нужно ему это не страха ради, что, мол, умрёт он и упекут его черти в преисподню, а для правильного насчёт себя понятия и ходить не спотыкаться.

Особо в лесу. Лес, он разом с чистаполя начинается, с тундры: с краю недоростки растут кривоватые, кущи хвойные, а чуток погодя вся поросль струночко в гору пошла и невпролаз: берёза, лиственница, кедр – хлебное дерево, главный злак. И не доведи, какой год кедр не уродит – гибель. Полёвки, белки, тушканы мрут наповал, а без них кровожадный зверь тоже до смерти тощает. Лось, глухарь, олень куда только подевались и страшно тогда в лесу человеком быть. Волки-худые, горбатые, уже-от им всё равно, середь дня за саньми следом, ровно собаки приблудные, бегут-теняются, отброс человеческий со снегом жрут, а дай-от им зверя доброго, так и зарезать силов не хватит. А пушняк, – когда-когда попадёт, глядеть на него, плакать: шерсть – чисто на свинье щетина, чем тварь на свете держится.

В такую-от зиму Никифор ловитки не ставит и промышляет одно мясо упряжку кормить. И в снегу не ночует, боится замёрзнуть и собак поморозить с голоду, а ежели кура снежная прихватит, то и сам тянуть санки подпрягается, как собака, и тянет на слепого комара, пурга – не пурга, лишь голос подаёт, "Робятки!" покрикивает. И всегда оне его выручали, и он их за то не забывал. Доброй муки у Никифора что год, чур на самого, а в тот год и хлеб не уродился, золотой был хлебушек из чужих-от краёв, так он отруби, шкуры мездрить, – спасибо, шкур-от не было иде взять, – отруби с малой мукой мешал, тесто затворял, хлебы пёк и тоё хлеб, в роте деручий, сам ел и с собаками делился, с ними наравне бедовал, ежели не страшней, потому как зубы у него под вёсну, будто орешки посыпались калёные до одного. А ещё бил он заслуженных перестарков и молодых кормил до тёпла выдюжить, до первого гнездовья, до первой мыши-рыбы.

Зато на урожай – живёт лес большим городом, и следами по снежку написано, что жив, мол, я. И выезд у Никифора тогда совсем другой: по тундряной плоти, да край кудрей создательских, да круто посолонь на речку своротил, да вдоль-от жилы божецкой едет он за зверем в самую гущину, в самые, стало, Господни угодья. Снежок сверху свежий, рыхленький, а внизу, как дорога, твёрдый и не ухабист, а в лесу помягче, нога проваливается, потому – теплей там зверю. Речка – просека, конца ей нет, один берег другого круче. А санки у Никифора из берёзы, – что лёгкие, что крепкие: сверху сыромяткой мертво схваче-

ны, не жесточили чтоб, снизу шурупами, и полозья заместо подрезов нерпичьей шкурой по шерсти подбиты: вперёд – только давай, назад – стоп, тормоз, собакам в горку передых.

По доброй погоде выезжать, – эх, житьё райское! Не едет Никифор, а на пух-перине кохается и всласть своё продвиженье чует, да не морозцем хватким, что за нос карябает и в пику ветром шибает, а рукой, ногой, нутром, чем хошь. Иде ещё скорость тах-та прочуешь, как на санях, – хоть на велисопеде, хоть на самолёте? Удовольства такого за деньги не купишь, кто понимает. И собачки: бегут – только в Москву на парад показывать: ровная ёлочка, из рота парок, шаг разбитной, весёлый, нога в ногу, не собьются, а никто не научал, сами достигли. И промышляет он с ними до самого до Великого Поста, а дальше того – нет, чтоб новый зверь отродился. А посты Никифор не блюдёт, – нельзя ему с собаками зимой без мяса, а раз нельзя, то какой же грех? И на Рожество он ловитки с неделю не ставит, чтоб зверь тоже славу Господню восчувствовал, да и самому разговеться чуток от жизни тверёзой.

Когда-сь на Рожество ездил он по соседству, вёрст за двести с гаком, на Тимохину зимовку двадни водки попить, душу отвести разговором. Тимоха, он поучёней Никифора, радио у него приёмник, политику знал: чего кипитализм, чего буржуазия, чего кто. Мужик по себе неглупый, образованье семь классов и при добрых собаках, и Никифору подражал робить без напарника, только что запалистый и маятой разной маялся. Оне с ним и

пили врозь: один – водку, другой – коньяк, один – "с Рожеством", другой – "с Новым Годом". Ну, выпили, про дела потолковали, а Тимоха долго не утерпит, на крупный разговор насыкается.

"Удивляюсь я, – говорит, – на несусветную твою, Никифор, дурость, когда всем давно известно, что Бога не было, нет и не надо, наукой доказано с большим успехом, всё это одна выдумка тёмных людей, как ты, например, которые". И дальше того пошёл-от доказывать, что как Бог очечественную войну проморгал и до погибели нас мало не довёл, то судить его надо каким-сь особо преступным процессом и спросить через громовую трубу при всём народе, иде ж он такой-сякой раньше был. "Как это "иде был"? – противится Никифор. – А чья победа, нашая или немца?" "Ну, допустим, – упорничает Тимоха. – А цена победе? Мильёны! Как же он допустил кровопролитье, ежели он Бог, по-твоему?" Никифор подумает, подумает и скажет, что Бог, могло быть, обиделся, потому как властя смеялись над ним и всех заставляли, и кресты сымали, и скотину в церквах держали, и говорили, что его нету, а дошло до мокрого – стали кричать: "Иде ж ты, Бог, запропал, куда заподелся?" И у Тимохи спрашивает: "Было тах-та или нет?"

Тогда Тимоха пристаёт с другого конца, что, мол, Никифор Кулину свою во всём поважива ет, сам по дому порается и бабскую работу робит, в посёлке над ним смеются: щи варит, подштаники стирает. "Нешто твоё это дело? – корит Тимоха Никифора. – Эх ты, мужик! Твоё дело какое? Иди, ложись, закуривай, пришла к тебе баба – справь ей своё

мужское дело и опять – ложись, закуривай"... На это Никифор ему отвечает, что мужик, мол, это – не серьга тилипается, а должность такая-от, всё уметь, окромя детей рожать, конечно. А как Никифор всё умеет, то никакого равноправья Кулине своей не даёт; пущай детей подымает правильно, тах-та оно лучше.

Никифор спокойно размышляет, а Тимоха горлом берёт. "Ну, нет, – кричит. – Не возьмёшь тах-та без рукавиц, не дамся без мыла. А ну, встать! Смирно! Прошу всех наполнить бокалы!" И опять же новый спор придумает, – шибко по разговору стосковался. То-то проспорят оне и заполночь и до утра, а никто никому ни в чём не докажет. На другой день проспятся, встанут, голову поправят, сыграют на голоса "мороз-мороз", "камыш-камыш", "степь да степь" да "последний нынешний денёчек" и разъедутся. Но то было давно, потому – пропал Тимофей безвестно, десять лет как. Слетали к нему на зимовку, тамотка полный порядок: замкнуто, смушки попрели, перестарки езжалые подохли с голоду, а коньяк целый и радио справное, – "Кипитализм, – передаёт, – буржуазия", одного Тимохи нет с молодой упряжкой. Лес-от, он поболе стога, а человек помене иголки, – ищи его хоть до второго пришествия, всё одно понапрасну.

Никифор догадывался, как оно получилось. Была у Тимохи упряжка неуков молодых, да он рисково передержал их до пяти лет. Никифор ему говорил: "Ты, Тимофей, их теперь не трожь, бо худо дело. Езди, как доведётся, авось, ништо. Проминул час их бить, поздно, не дай Бог чего, пущай лучше небитые, а себе дороже". "Боялся я их, – говорит Тимоха. –

Хоть бы на пятом, хоть на десятом, я им хозяин или кто? Пущай оне меня боятся, а я их жучил и по гроб жучить стану. Не я буду, как бубну им не выбью к масленой". Ужотко Никифор и совестил его, и увещал, что, мол, одно дело – дитё поперёк лавки поучить, другое – рослого мужика вдоль пластануть да выпороть, – он те вовек не простит. "Так то люди, а то – собаки, – Тимофей заявил, – разница". "Дело твоё, – сказал ему Никифор на рукобитье, – а не советую". "А иди ты, – Тимошкины были последние слова, – учить учёного, сам без тебя знаю".

Вот он их и побил, рослых неуков, не послушался. Ну, с недельку оне болели, отходили, да, поди, столь же дней соображали, как за тоё обиду посчитаться. Так что недели, должно, две прошло от битья, ежели не боле, как поехал он в объезд, – оттоль дотоль в день не управишься. Пришлось с ночевой, а оне спать будут с ним: и с боков, и поперёк, и всяко, потому – отдать своё тепло обязаны. Он их всех, ясно дело, иде-сь рассупонил, незнамо иде, – тут-ка ему и был последний нынешний денёчек. Пять издачей всякого мужика возьмут, а их вдвое. Потом-то оне и сами пропадут, как не могут себя в зиму обеспечить, но раньше Тимофей Минчак пропал.

Никифор следователю тах-та без утайки выложил на допросе, потому – предпоследний он был, Никифор-от, кто Тимоху живьём видал. "По-вашему, – спрашивает следователь, – всякий кабыздох рассуждать может?" "А как же! – Никифор говорит. – Обязательно". "Выходит, намеренное убийство?" "Выходит". "Восстание, значит, с революцией, – тах-та и

запишем. Ой-ё-ё, до чего интересно! А кошки, как насчёт восстаний, соображают?" А сам за папироску схоронился, дымком обмотался и надсмехается, умный человек, над глупым Никифором. "Я по кошкам не спец, - Никифор говорит, - не знаю".

Худо дело обернулось. Последний-от, кто Тимоху видел, Щербан был приёмщик, но как он состоял при других свидетелях, то, стало, не в счёт, и подозренье пало на Никифора, что, мол, съездил он к Тимохе вдругорядь и ухойдокал соседа-от своего с корыстной целью участок забрать. "Вся вашая выдумка про собак, - следыватель сказал, - не имеет под собой земли. Вы, Никифор Беспалов, не знаете, - говорит, - законов государства, что подозренье всегда в пользу государства, а я - государственный человек; поверю - твоё счастье, не поверю - не прогневайся". Тут-ка ему Никифор две сотенных отмахнул, как одну копейку. "Я вам верю, - следыватель говорит, - а надо ещё, чтоб и другие, государственные". Тах-та Никифор семь рыжих володек промежду пальцами ни за что пропустил. Эх, кабы один-на-один, показал бы ему Никифор лесной закон, кинул бы на него псюрню и за грех не посчитал, - пущай бы за компанию с Тимохой. Да оне сторожкие, властя, боятся один-на-один.

Побывали у Никифора на зимовке, шуму наробили, перевернули всё непутём, искали чего-сь для блезира, не нашли. Ну, написали: "Тах-та, мол, тах-та, Минчаков Тимофей Иванович смылся в неизвестном направлении". А направленье-от как раз очень известное, - собаки зарезали, да иде искать? Полгода минуло: то ли его к морю в лёде понесло, то ли

зверьё в лесу по кости растащило. Вот те и кипитализм! Вот те и буржуазия! Пропал человек со скуки, отмаялся не по годам за упрямство своё, а жалко.

7. ТРАВЛЯ - БОЙ ЧЕСТНЫЙ

Засядку себе он край речки предметил, иде бурелом и снегу копну добрую навалило, и березняк ровный, плёсовый, - самое место. Тамот банда путик на другой берег пробила, а он гораздо резаный, берег-от, и по каёмке по самой на обрыв, не тах-та высок, а не перескочишь, разве что седловинка есть распадистая. Через тоё седловинку правились оне с одного берега на другой ловитки зорить и шкодили непомерно, а Никифор их поболе двадцати насчитал. Кабы оне пошкодили, пошкодили и перестали, он бы их и не трогал, а то обжились, чего робят: пушняка выжрут, ловитку раскурочат, круг неё насрут-насцут, не с озорства, ясно дело, а просто знак у них такой, по снежку расписаться: "Уходи, мол, Никифор, добром и угодья нашие не трожь". А Никифор не соглашается и через то у него с волками спор несудом. Каждый раз, как новая шайка собьётся, так и спорят, кому хозяйствовать, кому гостевать.

Перво пробовал он на них ловитки ставить, да оно не с руки: что зверь не промышленный, что голова надвое, по кого ехать, - то ли по соболя, то ли ещё по кого. Да и животина свободолюбимая, в неволе часу не терпит, а ежели и заступит когда, - ноги не пожалеет, резанёт, как не свою, хоть по мослу, хоть по суставу, и о трёх ускачет. Глянет Никифор на

тоё обрубок волчиный и заноет у него рука увечная тах-та больно, и почует он сердцем волю и сколь цена за неё, ежели часть себя отдай.

А ещё брался он по недоумству отравой их изводить, - такого наробил убытку, страмота на объезд ехать, а от мышьяку что зверья да птицы в округе передохло - бессчётно, и план у него повернул не на барыш, а на коросту, добрую половину недовзял. С того он смекнул маненько, что дикую силу вольнорождённую только прямой силой пересилишь, а больше ничем.

Ватагой у них волчиха заправляет старая, и оне круг неё, ровно пчёлы круг матки роятся. Ежели её убрать, вся стая рассыпется, а заместителей нету. Никифор, истинный Бог, не побоялся б шиб-на-шиб сойтись, кабы у неё на лобе стояло: "Я, мол, крупное начальство, большие властя, недосуг-от мне со всякими в очередь", а она ходит посередь стаи и видом, как все, - спробуй издали догляди, чего там у кого под хвостом творится. Стёпке Бердникову однова подфартило, так он что год куражился: "Я-от с моей-от Марусей вспроть слона могу". А Маруся у него - бельгийка пятизарядная, ружьё справное, на слона годится, на волка слабовато. Вовсе молодой мужик, сорока не было. И Маруся, - иде-сь теперь лежит, поди, ржавеет бесхозно... Тах-та не расчёт Никифору встревать с ними и на ружьё у него надеи нет как нет.

На собак у него надея. Собаки, те скоро вызнают, кто главный, и гуртом берут, а как оно тах-та ловко у них получается, людям вовек не дознаться. Беда, что шибко дорого

победа стоит, потому – главная выбраковка, травля, по пол-упряжки, бывало, не досчитывался Никифор с тоё победы. Для того он их школит, на зверя натаскивает, себя не жалеет, чтоб, значит, сила в них была с резвостью и грызлись чтоб наповал. И не уступают ездачи волкам: грудь у них бойцовская, вширь лямкой раздатая; спина тягловая, крепкая, гнучая; шея вёрткая; жилья – канаты кручёные, мясов лишних нет; ножи на сырых мослах точены. Нет, не слабей собачки волков, даже превосходней. Две всего у них слабости, нипочём не отучишь. Одно, – что волки молчком бьются, силу даром не расходуют, а собаки себе голосом подсобляют и через тоё "гыр" да "гав" сила у них горлом выходит, – кому это надо? Другое, – не бьют собаки благородно ни по животу, ни по удам, заказано у них туда бить, иде рода начало, а серые – только дай, кишки за раз выпустят, не соберёшь.

А может, оно им нужней, чем нам, – благородство. Волки биться долго не терпят, а собаки – до последнего, да ежели ещё хозяин при них, так и вовсе. Не бывает, чтоб собачка на произвол хозяина бросила, не знает она, что такое, – предательство. А от человека собакам тоже прибыток голос его близко слышать, геройства набираться. Потому собаки бодрей. Но опять же, смотря иде. Ежели в лесу, считай, пропал пёс: теряется он в посадке, дуреет от гущины, сила-резвость куда девались, хватай его за хомуток и волоки. Серые, те наоборот: им лес – дом отецкий. Стало, бейся с ними на свою выгоду: в чистом поле, иде раздол, чтоб разгон взять, да повернуться, да

отскочить, да углядеть, да по глотке супостата хватить, – тах-та.

Ну и ходили, – Никифор за стаей, стая за ним, дорожки проведали и стереглись в оба глаза, и встречались не раз, не два, только серые уступали, потому – от Никифора с собаками отчаянной смелостью за версту прёт и песню он заводит издаля про девку красную, как она плакала да косой слёзы вытирала, а коса-от у неё русая. У волков-то соображенье какое? – робкому не до девки станется, робкий не будет бесстрашную песню играть, смелый зверь Никифор, сторонись его, пущай едет по своим делам до другого раза. Хитрили оне, хитрили, кто кого, а Никифор был хитрей.

Углядел он, как стая оленя зарезала. Олень рослый был дикарь и в теле гладком; оне, дикари одинокие, крупней гуртовых выгуливаются, чуть не под лося бывают. И ушёл бы он от них, да оне шайкой надвое разделились, наперехват взяли, – туточка ему и конец. Никифор и сам бы его забил на угощенье, кабы ели, а то ведь, что сами зарежут, то едят, ежели год не голодный, а чужого мяса не трогают, вроде догадываются: "Что, мол, за добрая душа свежатинки нам подкинула, а сама жрать не захотела? Да мы тоё добрую душу круг пальца обведём и мяса подкинутого трогать не будем". Умные оне, гады. Как предметил Никифор такое-от дело, тах-та и смекнул: будет у них теперь всенощный мясоед с дремотой, ужрутся доотвала, обленятся и половину прыти тут-ка оставят для приятного аппетита. А утром в логовище пойдут сны смотреть, да не все дойдут, ежели Бог даст, конечно.

В засядку он сел заполночь и сидел, как статуй, чего-сь дозирал да редко-редко на собак цыкал, а как темнота на серость пошла утрешнюю и дальний бережок завиднелся круто, стал он, православный человек, Богу молиться. Он-от и не скрывает, что верующий, только вера у него, вроде у цыгана: без нужды лоб не перекрестит, а как нужда поприжмёт, тах-та разом и вспопашится. И молитва у него по живому делу: "Ты мне Бог, я те Никифор" и всё такое, ровно смушками на базаре торговать, кабы можно. Молился же он тишком, лишь губы чуток разъял и дышал кратко, а слова были такие:

"Господи, твоя воля, моё разуменье, одно к одному - добре будет. Тебе-от хорошо сидеть тамотка наверхах да глядеть, как Никифор в снегу мёрзнет, со вчерашнего не емши, кишки от сладкого слиплись. Оно бы и подхарчиться не велик грех, да собачек надо в лёгком теле содержать, и мне при них не отойти, сам, поди, видишь, как Бог свят, что не отойти, а при них совесть не дозволяет, потому - сейчас все одинаковые, что я, что оне. Да я-от ужотко, пущай, грешный, а собачки про что страдают? Ты глянь-от, глянь, каково им на холоду в дисциплине лежать, не шелохнуться. И ежели ты взаправду тварь добрую милуешь, то моих, стало, перво-наперво обязан, потому - сам сообрази: вспроть кого оне сюда вышли? Вспроть стаи волчиной, вспроть анчихриста. И про договор не забудь обещанный, что, мол, "всякого зверя здешнего под человеческий начал отдаю". Вот и отдай анчихриста того, волков-от головой предоставь, а что другое, то собачки лично до ума доведут да я

подсоблю. А как тебе, Господи, любое дело сотворить, что мне чихнуть, потому – всё в твоих руках, то ты уж их, бандитов, не жалей, а на ровночко, на ледок выведи. Да ветер обереги противный, чтоб не как в прошлый раз. Да не шибко старайся снегом-от глаза порошить. Да силов не убавь. Да подай ногам крепость, душе смелость, зубам прицел. И на том слава те, Господи, аминь".

Никифор до слюней готов спорить и руками молотить, что прямая молитва бесхитростная враз по адресу доходит, ежели не приставать к Богу день в день попусту. А чего просить и когда, про то Никифор знает и не запрашивает ни клад найти, ни сладкую жизнь бездельную, лишь едино удачу просит в трудах правильных. И не было, говорит, случая, чтобы Бог не услыхал и по-его не сотворил. И на этот раз: воспротивились собаки шерстью, ушми разом прянули, нюх поставили вострей, потому как им волков чутно, а волкам по-за ветром – нет. А как ссыпались оне с тоё седловинки на ровночко, сами наетые, тяжёлые, к бою неспособные, назад ходу нет, вскочил Никифор и крикнул на весь лесной росклик: "Гей-га, робятки!" И пошла псюрня сбоку и навстречь, красота глядеть, как пошли. Уходить волкам – бок подставлять и место узко, для начала отбиться надо. Оне-то попервах мало опешили, а как сообразили, так передний, заводной, враз повернул встречь собак и на задки приналёг скорость набрать боевую, другие за ним.

А травят-то собачки! Кто не видал – не знает, кто повидал – не забудет. Ах, лёгкая кавалерия! Ах, ты клин журавлиный, по небу далече слыхать! Тах-та легко травить идут, –

глаза отдай и назад не проси: вбок ударят – надвое колют, нос к носу сойдутся – вязнет стая в собачьей шерсти, как в патоке, не выберутся теперь задарма, а сколь это им стоить будет – как сказать.

Никифору за всем не доглядеть, поспешать надо. В руках у него ружьё о двух концах схвачено, не для стрельбы, а для отбою, на случай доберётся до него какой, так он ему сперва жомы поперёк сцепит, а потом черепок разнесёт ложем, как собачки-то серого на себя оттянут. Бежит он, спотыкается, а сам – краток миг, да памятлив – накрепко предметит, иде что. Одно ему жалко, что карточки сымать не научился. Снял бы он Асачу на годовую открытку вбилейную и продавал бы по рублю за штуку, а народ бы открытку тоё брал очередями, потому – собаки такой-от первостатейной не видано. Мать честная, стриж, птица небесная, летит первей всех, чёрная молонья, за собой ведёт, снегу не касаемо.

Передний, заводной, сиганул на неё. Оне, как сходятся, тах-та шагов за сколько сигают и норовят повыше, сверху чтоб ударить. Опосля-то оне и сшибаются, и на дыбки встают, и впокат спорят, кто дюжей, а попервах – прыжок. Простелилась она под ним тоночко, не нужен он ей был, а передний, наета сыть, поверх неё ножами вхолостяк сработал, да Рябко его на грудки принял и завозились. Другого она тож петелькой в сторону обминула, и он, значит, ей без дела, Тхору достался, Тхор его намертво повязал, собачка. А её уж и не видать, в самую гущину вошла, в кубле скрылась.

Третий Сявому достался родство сводить; сцепились – не раклещишь и давай снег пахать,

а он сверху ватный, внизу кремень, и оне – похожие, одинаковые, иде кто – опосля разбираться. Сигнал закружился вьюном, иде голова, иде хвост, да двух с собой закружил, и схватить его им не за что, мешаются, а он тах-та вертелся, вертелся да одного до хромоты обезножил. Ласка – чистая сатана, как остервенела; волк у неё дурашка был молоденький, мастью орловской не вылинял, – что он отцепится уходить, то она его за ляжку сдыбает, через себя перепустит и – заново. Это всё с краю, на виду, а в серёдке чего? – кто предметит; буран да ярость злобная, догадывайся, чего тамотка.

Никифор глотку дерёт, матюками сыпет, "робяток" бодрит, – без этого нельзя. Собачкам хоть не до него, а слышать обязаны, что тут-ка он, не бросил их, а смелым взывает к ним голосом, надею на них кладёт до конца, до победы. Знали бы дамочки, что плечьми к дорогим воротникам ластятся, каким сквернословьем воротники тоё обложены, каково добыты да какие-от собачки распрекрасные капризов женских ради жизни лишаются, сгорели бы по дешёвке... Ещё показалось, Пардон муружистый посередь кубла в пурге мелькнул, а каким скрадом очутился, – не иначе, по следу. Ну, навалились оне серым миром на вороную да на муругую масть и застили всё ненадолго.

Это сказать "ненадолго", как добрая драка долгой не бывает, а поди сам-от подерись насмерть, узнаешь, каково "ненадолго", коль минутка считаная за час сойдёт. Заводной волк, – его Рябко с разгону грудью срубил, – перекинулся, как кошка, на ноги, и бой у них – в плен не берём. И тут-от как раз

предметил Никифор: в кубле-от в самом подкинулся волк себя выше и спина горбатая, а снизу Асача достигает. Понятно стало Никифору, по кого она метилась. Един миг и – кончились у них властя; вынула Асача матёрую, что туза виней из колоды, и оставила Никифора при козырях. Волков-то удивленье взяло, как она к ним вошла, точно шило в сало воткнулась, и порядок боя порушила, ну и припоздинились оне умом, а потом поздно, потому как в крайности удивляться – себе на погибель.

А таки пришлось на козырях поиграть. Тхор дал промашку и притёрся к своему вальтом, а тот развалил ему брюхо, да Тхор цепкий собачка, перехватился и на подгрудке завис. Одолеть, значит, уже не в силах, просто вцепился и не отпускал, пока Спектор да Шлёндра не подлетели и осадили с боков серого коренника, а побороть – нет. Геройский волчуга Тхору достался, мотал собак пристяжных на все четыре; те его в жомах держат, а подвалить и резануть – никак. Никифор с разбегу проломил герою кряж, но добивать не стал, – пущай Тхор, собачка, смерть врага увидит, пущай-от на тоё победу погордится, тах-та помирать легче.

У Сявого благородства нету, дикость одна безгласная. Катались оне в-обнимку, катались, а у волков-то брюхо, как у собак, мягкое, и подлатал Сявый свояку бок, ровно суриком смазал. Доказал, стало, высшее образованье и хлеб Никифоровский отработал, а что говорят, "как волка ни корми", так то ещё посмотреть надо. Никифор говорит, что он бы и чистого волка приспособил, только надо вовсе в пещере жить, а он – человек культурный, печку любит... Подранок этот первый без задержки ухо-

дить припустился: гузно выше головы, ноги вразбрык и понёс в решете красным белое поливать. На кровь чужую глядючи, Никифор сам зубами заскреготал от шальной радости, сам озверел от азарта, ликовал криком подранку вслед и грубым смехом смеялся, а патрон на него тратить поберёг, – с такой-от, небось, дыромяхой сам околеет.

Как заслон передний побит, то и собаки при деле: что Ветерок, что Форт, что Калуга, что все. И бьются, Господи помилуй, – как: либо нож на нож, либо холку подставят, а там шерсти чёрту на подушку, не прокусишь, либо в сторонку хитро погнутся, заместо себя пустой воздух оставят, да следом же по плечу долбанут, пока враг не расчухался. Ловчей оне, собачки, и смекалистей на просторе. Вот когда труды Никифоровские не пропали: он им – науку, оне ему – выучку, волков разобрали, каждый своего нашел, а то двух. И такая кругом стоит паликмахерская, – шерсть кусками, снег тучей до леса дымит до самого, а местами по снегу, вроде клюква поспела.

В такой-от момент Замполит, ракло, нашёл время с Мадамом обиду сводить, Никифору недосуг было разборонять, пущай догрызаются, благо травля на убыль пошла и стая к лесу уходила без порядка, а все ж таки запомнил он рыжего, не забыл. Всё он ему спускал, думал-надеялся, но ежели ты, тварь взгальная, своим в лихой час вред чинишь, надеи на тебя нету, не нужен такой-от.

А волки уходили; лишь отобьются каждый за себя и уходят, отобьются и уходят, и ретивости у них куда поубавилось, – хвостами сникли. Никифор, заряд приберёгши, саданул на

два ствола и попал в одного, волчихой он оказался. Поехала она тах-та задом по целине, – бежала, бежала, сесть захотела и кинулась в злобе хвост кусать. Раз кусила, два, три, зевнула, башку откинула и успокоилась. Хромой недобиток поотстал, которого Сигнал стреножил; собаки его у самого леса взяли, – последний подвиг. И раненый ушёл, следклюкву за собой повёл, да Никифору теперь трава не расти, главное сроблено. А робить-от было минут на семь-восемь всего.

Сбил Никифор собак до кучи. Раж у них ещё не прошёл, кипят лютостью и собой вид, через гузно вынутые вроде, а как послабились, так до одной сцать захотели. И матёрая лежит себе, будто ходкой рысью мчит, правильник наотлёт, нос по ветру, а главную жилу ярмовую, уха близочко, иде шерсти помене, Асача ей откутала. Глянул на неё Никифор в охотку и его послабило, и он захотел, – значит, что промеж собаками и людьми в такой-от момент жестокий особого нет различия, а что один, то и другой. Справил он на волчиху малую свою нужду, от хвоста до рыла окатил, и не для глума сробил тах-та, а на предмет. Соберётся сюда бывшая шайка по одному, по два, поглядят на дружков побитых, автограф понюхают, – "А ну его, – скажут, – в баню, этого Никифора, спорить с ним. Нам что, лесу мало? Айда-ка мы отсюда на другой участок". И подадутся. И следу его стеречься закажут. И ловитки у него зим сколько не будут порушены. И зверь первый сорт, тах-та.

Подобрал он шапку, рукавицы, огляделся, а – не все козыри целы. С волчихой рядом Пардон разодранный, жалость глядеть. То-то он, муру-

гий, Никифору в кубле привиделся: на выручку, значит, Асаче пошёл, заместо неё подставился, десять ножей – все ему. Сердце у кобелька к ней близко лежало и жировал он круг неё, когда без привязки, и ночьми грел её от души, спал вместе. У Никофора-то не побалуешь; сучек он до третьей течки оберегает, лишь после третьей – изволь, а раньше того – подожмись, девка, оно крепче будет, а на людской разврат закутай глаза, не всё у них хорошо, оне – то с тем, то с другим, то с Николкою немым. Держал он мечту обкрутить Асачу с Пардоном, Сявого с Калугой, чтоб на помёт покрасоваться, да у Асачи один только разок капнуло и – всё. А теперь, выходит, мечте конец. Бывай, значит, Пардон, ухажор верный, отчаянный, за любовь пропащий, красивая смерть.

На что Никифор особо задумался, так это – Уважай. Лежал он туточка совсем готовый, да не один лежал, а с волком, и у волка щетинки не примято, лишь горло сломано, хрящи шугой под пальцами склизко ходят, шея набряк-ла, из рота блевотина прёт чёрная, – захлебнулся, нетронута шкура, кровью своей. Слопало-таки телятко волка! Такой-от редкой красоты удар молодцовский не доводилось Никифору видеть, слыхал только слыхом, что есть, мол, среди собак удальцы, тах-та умеют. Погоревал он вдоволь, что прошибся, удалой характер не распознал, думал – подхалим, а он первеющий пёс оказался. Отдал Никифор ему честь и славу, а это значит, – "Бывай, Уважайчик, собачка ласковый, человеческий, уважил ты Никифора во-как, и он тебя за то не

забудет".

Остатние тоже не все путём на проверку. У Ветерка на плече ошмёток рваный, будто вор из него бритвой деньги вынал; Шлёндра на ногу припадает, – прокус жильный; другие сами себя языками пользуют. Общупал он раненых, да кости целы, слава те, а вазелину с кормёжкой Никифор не пожалеет, подымутся. У Мадама ухо напополам, – Замполит изувечил. Сидел он, красивый гад, поодаль и жрал у Тхора кишки со снегу, а как Никифора почуял, враз перестал, только облизнуться, ракло, припоздонился. Никифор-от аж глаза вывалил и сердце у него струпом взялось от гадости тоё. Тхор живой ещё, голову воздымает, глазами смутными Никифора зовёт, – "Облегчи, мол, Никифор, верного твоего", а гавкнуть – голос вышел.

Вскинул он ружье на-плечь дубиной и пошёл тах-та два дела робить: сам на Тхора глядит, краем Замполита предметит. А у того вид куда бедовый; сидит, морду отворотил, – "Чего, мол, тебе? Я в травле был, запыхался, отдыхаю трудолюбимо, а что предметил, то тебе поблазнилось". Нацелился Никифор, по черепку чтоб лобастого, да проходя мимо, отмахнул – ррраз! – мало руку из плеча не вынес, обхитрил, кобелина, прочь ушёл, рыжая холера, прыткий. Никифору хоть плачь, сорвал-от руку, а нельзя, – собаки глядят, подражанье берут. И в-обрат не поворотишь, чтоб оне про тебя худо не подумали, а любой поступок им в твёрдое понятие западает, враз по-своему смекнут: "Э-э, – скажут, – да он злой, этот Никифор, какая там у него, к шуту, справедливость". Оне это знают: иде злоба, справедливости не

проси, нету её, потому как злоба и сама себя гложет, и круг себя всё догола выедает. В бою она – хорошо, силов от неё прибыль, а в разумной жизни не доведи, Боже, без ума гневаться.

Оно и Никифору недосуг, – Тхор главней. Вник он болячками своими в его мученскую муку и забыл про Замполита. Поставил новый патрон, воздел курок, подал напослед слово: "Бывай, Тхор, бывай, собачка геройский, доблестный, храбрей тебя нету", и стрельнул, убравши глаза. А заводилу первого Рябко пронял-таки. Не сам, правда, – с Потапом; Потап серого оседлал и попридержал маненько, а Рябко ему тем часом тах-та шею откутал, хоть возом едь.

Все у него самолучшие собаки, Никифор говорит, все тах-та в выбраковке погибнули. Как народ. А чего ради? А того ради, что жизнь-от нашая, она и есть выбраковка. И нету в ней ни тебе пощады, ни милости, ни вознагражденья. Конца-краю тоже нет, одна серёдка. Нешто у людей иначе Всё в точности. Кто веку не доживает? Кто за смелый талан в тюрьме, ровно за разбой, мается? Кто в дальние края утечь норовит от выбраковки собаческой? Те, что умные. Те, что совестливые. Те, что бьются, бьются дураков-от замордованных ради, – глядь-поглядь! – нету ихнего дела, не выходит, не дают. А кто не даёт? Кто чужой век заедает? Оне, властя. Никифор их распознал: не столь умные оне, как хитрые. И хитрость уму не пара. Замполита взять, – куда уж хитрей, а какой толк от него в жизни останется? Кабы-от сробить леформу да заставить властя захребетные в поте хлеб добывать

насущий, да смертельную казнь на жизненное злоключение переменить, – а что? – собачки-от правильней понимают жизни цену, – так бы оно и зверя в лесу поболе, и хлеба навалом, и Никифору б легче жилось добро людям робить, а он, Никифор, человек дающий.

Как же ему-от без Бога? Един он вознаградит да Никифор по малости по своей. Асаче награда первая, что упряжку сберегла. Одарить-то он всех поимённо одарил, но Асачу особо: собственной рукой огладил, сказал: "Не по уму-от своему ты, Асача, в серёдке ходишь. В передки пойдёшь заместо Пардона на память". И как раз почуял: идёт от собаки электричество прямо в него, да тах-та густо идёт, – пальцы резаные растут-шевелятся. "Вот те на, – думает. – Властя всю войну ждали, не дождались, а оне, пальцы, во когда рость заявляют". Испугался он и руку беспалую прибрал. А Замполиту объявил на праздник победный: "Амнистия тебе, фашисткая морда, остатний раз". И пинка дал.

Волков побитых он не тронул для острастки, а своих всех побрал, чтоб картина, значит, была вроде Никифору хоть бы и на новую травлю выйти, – всё одно, что по нужде послабиться. Есть у него место край леса, близко зимовки, туда он их, покойных, свёз и честью похоронил. И по патрону над могилкой стратил. Там-от оне лежат.

8. ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНЬЯ

На конец зимы, как станет-от рука увечная поламывать, тах-та затяжно и нудно заноет, Никифор враз догадывается: погодка идёт,

ныне-завтра туточка будет, собак бить пора. Отмачивает он в масле с вечера плётку ногайскую, чтоб шкуру не рвала, костей не тревожила, кормит собак добре, а наутро выезжает с лёгкими саньми без поклажи и едет, молчит, не разговаривает, – нельзя ему слов ронять лишних в день такой-от.

И не понимают, как нужно ему битьё это. Одни судят: "А мало он их оптом драл. Разом больше-меньше, какой счёт поштучный?" Другие тах-та: "Собачка друг человечка. Ни стыда у него, ни совести, и креста на нём нет". Первые – это злые дураки, вторые – дураки жалостливые. Что раньше было, это не битьё даже, а школка, шерсть выбить линючую. Битьё, оно только теперь-от будет один раз, специальное по науке, агзамент без жалости. А противное дело, – верно; что без аппетита, что вспроть природы и всякого размышленья. Никифор боле суток маковой росины в рот не берёт, нейдёт ему, и плётку тоё хоронит на годы с глаз долой.

Есть у него в лесу одно место: кедрач кущами густыми, собакам не видать, и прогалинка с берёзкой. Вытоптал он снег под деревом, собачку вынул, привёл, сворку зашморгнул на стволе, ногайку в руку беспалую и – давай. Бьёт и бьёт, бьёт и бьёт. И дотоль бьёт, доколь пёс под себя жидко не набезобразит и свет у него в глазах потухнет до полного бессознания. Никогда-от он их бить тах-та не бил и никогда боле не будет, однова лишь.

Поведенье своё у каждого. Рябко – мужественный пёс, авторитетный, с него начинать, а как вытянул он его вдоль спины, заголосил

криком обидным и в крике у него вопрос прямой: "За что?", потому как не то что людям непонятно, а даже и собакам, одному Никифору понятно, за что. Тах-та покричал вожак от боли, а больше от обиды, конечно, и из голоса вышел да, закрывши глаза, похрипел маненько и осрамился без памяти. А как пёс уделался-предел битью; дале того нельзя. Бессознательная собака от битья умом трогается и несчастная на всю жизнь, - ужотко Никифор за этим следит в оба.

У Сявого от битья лай собачий произошёл, - дошкулил-таки его Никифор, - срывной такой лай, вроде у петушка молоденького. Бил он его раньше Калуги, потому как любовный зверь, сильный, много понимает, догадывается, а после дранья он слабый, пущай догадывается. Калуга, та за каждым похлестом "ой-ёёшеньки" причитала совсем по-бабски. Потап ломовой Никифоровские чуни-торбаса ползком лизать кинулся, жалости-пощады просил, да не выпросил. Ветерок мотался на привязке круг дерева, как угорелый, пока Никифор сворку ногой к снегу не пришпилил. И все под себя робили. И вообще, чисто люди на расстреле за жизнь цеплялись. Никифор их за то не корит и позором не считает, - "Такой, мол, сякой, как ты смел слабость поиметь, когда тебя убивают?", потому - жизнь, она не одним людям мила, а и собакам тоже, - раз живём.

Замполит гадский мигом сообразил, чего как: раньше нервенной Ласки опаскудился и дохляком лёг, ракло, кого-сь обдурить хотел. Никифор ему не поверил и выдрал бездвижного лютым боем, даже в отчаянность входить стал, а это нельзя; двух собак на своём веку

запорол он тах-та до смерти через зверство своё, и рассудок ему теперь при таком деле без выгоды.

Бить-от он их бьёт, но это не всё. За каждым разом внушает он собаке одно слово краткое. Никто на свете этого слова знать не должен, окромя Никифора и собак; ни с кем в разговоре он не обмолвится, – ни с Кулиной, ни с детьми, и во сне бормотать язык прикусит. Разве что продать упряжку надумает, хотя навряд, – тогда только шепнёт купцу на ухо слово это, какого и в разговоре людском нет, Никифор его сам выдумал. Обозначает оно жуткую жуткость и дремучий страх, а западает в собак вместе с болью: и под шкуру, и в уши, и до печёнок до самых. Оне-то, ясно дело, обижаются на Никифора, и злятся, и чего-ничего, а как-от пароки он им забил и свет в глазах погасил, остаётся оно у них в памяти, как осколок в теле, и помнят оне его крепче всякой причины. Жили б оне долго, учил бы он их, как людей учат словам страшным, вспроть каких тюрьма худо подумать: то газетками, то радиом, то собранием, то чем-ничем, а собакам жить-от всего ещё лет шесть, много семь, вот он и учит их за один присяд переполох выливать, потому как в слове том, окромя жуткости и страха, ничего боле нет.

Асачу он в последний черёд вынул. А не хотел он её под дерево вести, на снег вонючий, топтаный, ну, не хотел – и всё. Да как же обминуть, когда все битые? Никак. Приторочил он её, сердцем заскрипел, в кулак поплевал на крепость и тах-та хлобыстнул, чтоб не думать долго. И слово сказать не забыл. Асача голову на запрос вскинула, а голосом –

ничего, попятилась только. Он ещё раз. Она опять назад маненько и молчит. А в третий не довелось ударить: спружинила Асача пулей и на конце сворки тронула Никифору руку его беспалую, самое тоё место больное. Бросил он ногайку и не своим взвыл голосом, а по-собачьи, без слов, как Рябко, потому - боль, она, что у собаки, что у человека одинаково больно болит, оказывается. А не веришь, - возьми-от собаку и пришиби, и послушай, а опосля дитё возьми побей, тоже послушай, - на один голос плачут оне, вот чего.

Никифор заорал не хуже. Кровь у него ручьём полилась, так он её снегом долго промачивал, руку в кашну завёртывал, потом в рукавицу туго засунул. А собака вольно стояла и не на руки его ужасные глядела, как другие, а на него прямо и без никакого испуга. От смелости такой-от невиданной Никифор глазами протрезвел и пропала у него обида всякая, как сказал ей: "Ладно, Асача, ходи небитая", хотя в тот день ему, помимо слова страшного, других слов говорить не полагается. Упряжные собаки аж головы повернули: всех битых он с прогалинки на себе принёс, а Асача шла к саням сама и Никифор битый за ней следом.

Домой ехали - тенялись, ногами невпопад переступали, чуток живые волоклись, у одной Асачи постромка струнко натянута. Никифор тоже не в санях сидел, своим ходом пёр, болезновал. Приехали - первым делом накормил их. Один раз кормит он их от пуза, сколько съедят, и лежат оне, поправляются неделю целую, а мяса на поправку много уходит. Сперва без охоты едят, а потом - ничего, жизнь своё

берёт. Только Асача ни сегодня, ни на другой день крошки есть не стала и выделялась ото всех, как совсем уже чужая и до того вольная, – запрягать-от как? – рука не налегает. Туточка Никифор неладное почуял, замутило ему душу.

Взял он её к себе в хату, – сроду не было, чтоб он пса в хату брал, – на пол посадил, сам вспроть неё на лавку сел и говорит: "Давай мириться, Асача, не серчай. Я ж тебя толичко два разочка стегнул да и не тах-та шибко. Ты мне вона чего наробила, руку спортила, болит, а я на тебя сердца не держу, забыл вовсе. И ты меня, стало, извиняй". Тах-та он с ней разговаривал, а она слушала-не слушала, всё равно куда глядела. Подкинул он в печку дров, сохатины кусок лучший вырезал, пожарил, – оне болеют когда, жареное им легче идёт, – да она кусок тоё ни ухом повела, ни даже понюхала. "Ну, а чего хошь? – допытывался Никифор. – Хошь сырого-тёплого, оленя загублю пойду, не жалко". Он ей что говорил, а всё без толку, потому как не простила. Сидела она в хате, как в чужом месте, ни жива ни мертва, и презирала всем своим видом и Никифора и весь его разговор хороший.

С того досада его взяла. Достал он водки, укрепиться маненько, выпил, голову обронил и задумался, как задремал. Сколь он тах-та думал, никто не считал, только чует в дрёме – опять на него кто-сь жутко дозирает. Прокинулся, туда-сюда повёл – лампа во всю горит, и глаза у Асачи прямо на него горят поставлены. "Нечистая сила! – закричал. – Ведьма! Колдовка!" Остервел он, кинул вожжи,

сорвался, подскочил и ударил Асачу супятком, иде у неё зорька утрешняя прописана, изо всей мочи ударил, чтоб ему пропасть, изо всей мочи, крепко зашиб, задышалась она и с Никифора глаз не сводит, а на полу под ней чёрная калюжа расплывается, – Господи!

Лопнуло у Никифора чего-сь в серёдке, схватил, что под руку пало, смушек – не смушек, соболь-ондатра, сломался напополам, подтирать кинулся, приговаривать: "А ничего не было. А ничего не было". Пересадил Асачу на сухо, прослышал руками, – мёртвая у неё шерсть и электричества нету в ней уже никакого, – и понял доразу: не жилец эта собака. Как дошло до него такое-от понятие точное, упал он с ней рядком, схватил её в обойма и взревел дурным на всю хату голосом: "Асача, ясонька моя!" И слёзы откуда взялись, потекли, хоть умойся, хоть выкупайся.

Ни разу того не было, не плакал Никифор в жизни слезьми. Мальчонка у него старшенький помер когда, так он с лица почернел, страшный, глаза провалились, морда стала деревянная. Кулина говорит: – "Ты бы поплакал, Никифор, всё легче", а он ей: – "Ужотко, – говорит, – да оне у меня не туда идут, все кишки проели". А тут-от первый раз пошли: наружу и по щекам, и по шее, и дальше.

А слов-от он ей всяких насказал, разве что одной Кулине говорил тах-та смолоду. И просил, и молил, и в шею её блескучую, чёрную дышал, и спрашивал, что ж он без неё робить станет, и сам себе думал: "Чего ж мне-от робить без неё?" И заснул на полу, нагреть её хотел. Пробудился – лампа чадит,

фотожен в ней выгорел, Асача у двери выйти дожидается. Выпустил он её, пошла к своим в клеть.

Она в четвёртую ночь околела. У Сигнала голос опять проявился, как заплакал Никифора звать. Следом Сявый по-волчиному и никто его за то не побил. И Потап вывел на гудок басом долгим, унылым. Никифор забрал её, в сенцы перенёс, чтоб заспокоилась, а сам до утра не спал, думал: "Что ж оно тах-та нескладно? Иде ж она есть, правда на свете, туды её поделом, что доброму гибель скорая, а худому живи - не хочу?" - такие-от всё мысли у него были сумные.

Схоронил Асачу днём при собаках, попрощался. "Асача, - сказал, - жалечка родная, бывай", - а поболе того не сказал, только стрелял долго опосля, горе перемогнуть, собаки переполошились. А домой когда возвернулся, - знал робить чего: взял Замполита и за зимовку повёл. Тоже сразумел умный кобель, красивый, что ему предстоит и для чего у Никифора ружьё в руке, - глянул, как спросил: "Убить хочешь?". Никифор его взгляд каменно вытерпел, ответил без зла: "Негоже тебе, Замполит, таких-от собак переживать, правда-совесть не дозволяет, бывай".

Потом обрезал на потяге лишние постромки и стали у него собачки битые по местам. Вот оне, солдатики, ровная ёлочка, одиннадцать: попереди Рябко, а за ним парами Сигнал с Ветерком, Сявый с Калугой, Мадам с Лаской, Спектор с Фортом, Шлёндра с Потапом...

И будет у Никифора день. И час в том дне будет. Взыграет упряжка древней ретивой кровью, что от первой ещё собаки по жилам

растеклась, возмутится в них дух вольный, разгонятся оне, дикие, за зверем ли, под обрыв ли, и слушать никого не захотят. "Стой!" – крикнет им Никифор. Не остановятся. Схватит он остол-острогу и в снег воткнёт промежду полозьев, чтоб тормоз. Вырвут собаки острогу, ровно из земли тавлинку, и дальше поскачут, а Никифору одно – пропасть останется. Тогда-от скажет он напослед слово железное, какому боем их научал без жалости, и будет цел. Ударит псюрню по ногам паралик, свяжет им жилья, скрутит в три погибели, заскулят оне больно, в кучу собьются свальную прямо под санки – в том Никифору спасенье. И долго будут отходить, долго. А Никифор станет им ноги разминать, спину оглаживать и поимённо в жизнь ворочать милую, трудную. С того оне и веку, как люди, гораздо не доживают, что битые.

9. ГРЕХИ НАШИЕ

Господи правильный, Исус Христос, прими мою собачку, пригодится, хорошая, четыре года, звать Асача. У тебя тамотка места хватит, да ты её близко престола держи, мало ли, неровён час, а в небесах, поди, как на земле, чего не бывает. Ты особо с неё, Господи, не взыщи, потому – моя вина, я её загубил по окаянству своему, с меня и спрос, как призовёшь, а её не трогай, бо чистая душа, как есть новоявленная. Кабы ж я-от знал, что Христофор пёсьеголовый, а то думал, – собака, как все, да теперь-от мучаюсь, сам видишь, ночьми не сплю. И ты, Господи Боже, муку мою маненько послабь, потому как ты сам не доглядел и

знаменья мне от тебя никакого не поступало. И не искушай боле раба своего Никифора чудными явленьями, а я в тебя и тах-та верю без никакого чуда. А ежели чего непутём роблю, то ты своей премудростью рассуди: какова нашая жизнь – как у собак, и грехи нашие, Господи, от жизни тоё, конца не видно. И пошто ты народ свой боязненный тах-та не взлюбил, свет разума застил, за какую-такую провинность отвернулся – не знаю. Другие-от, небось, кохаются под рукой у тебя, а тут-от в жилу тянешься, себя не жаль, собак побиваешь, да жизни ради сам глядишь зверем. А властя, Господи, ты нам дал в наказанье куда хуже, ворьё бесстыжее, замполиты-жулики, туды их поделом, тому вынь, этому дай, третий сам возьмёт, счёту нет, а греховодные – всего боятся, окромя одного тебя, и когда их приберёшь – тоже неизвестно. Оно, может, и заслужили мы, не угодили чем, да больно долгая кара, жизни не хватает, – разве ж это дело, покаянье без выкупа, иде видано? Ты-от погляди милостью, кто тебя тах-та жалеть будет, как не мы, люди твои, чтоб тах-та с тобой за родную душу? Взял бы-от и полегчил, – чего тебе станет, Господи помилуй, право слово, полегчил бы. Было б житьё полегче, робил бы я с напарником и собак не побивал, а ты чего сотворил? – послал напарника умней меня, да потом отнял – нехорошо. А там – как твоя воля, тебе видней. Собачку только побереги, Асачу мою, и на том слава те, Господи, аминь.

1981

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Metamorphosis *

* * *

Розовые гребни колышет
отдалённая осенняя роща.
Ежели прислушаться, слышно
шелест их тончающей толщи.

Не душа ли, ежели приглядеться,
тает в небе, загребая крылами?
Остывающая, хочет согреться,
на прощанье покружиться над нами...

О иововый мой вопль на руинах
самой падшей из наземных империй!
– где усато нерестятся в глубинах
джугашвили и лаврентия берий.

...Потерял – и ту, с которой рыбачил,
лодку, полную воды не на шутку,
и окрестный, только дробью подначил,
гром, сразивший перелётную утку,

---

* *Стихи из книги "Затмение", готовящейся к печати в издательстве YMCA-PRESS.*

и подруги, что казалась смуглее
от теней, всегда летевших навстречу,
потускневшую цепочку на шее,
каплю крупную - потопа предтечу,

твердоствольные репейники, пижму,
чьи под копотью фабричной соцветья.
...Сам себя не узнаю, как увижу,
под лохмотьями того лихолетья

- ни мальцом, ни мужиком
мутноглазым.
На погост пора спровадить зануду
с вразумляющим примерным наказом.
Но и при смерти рассчётливо буду,

Отче, верить, что выносит кривая
вновь туда - где на правах
самозванства
вавилонский городской голова я
и губернский предводитель
пространства.

сентябрь 87

В ПОЗДНЕОСЕННИЙ ШТИЛЬ

...В позднеосенний штиль
пахнет сырой землёй.
Остроконечный шпиль
кирхи над головой
брезжит. И поделом
к старой стене впритык

вон же он за углом
– красный боярышник.

Сразу не вспомню год,
где обнимал, шепча,
беженской бязью под
трепетный скат плеча,
что замерло, затекло,
– а между тем следя
за брошенною в стекло
пригоршней дождя.

Отворотясь к стене,
шепчешь: "Совсем чужой
стал с той поры как не...
– и задохнулась: – Мой!"
Капля одна в одну
стронулась и влилась,
блёсткая, по стеклу
серому разветвясь.

...Красный боярышник
разом и густ, и гол.
Горький его тайник
выклевал и проник
в небытиё щегол.

ноябрь 87

* * *

И там огни дрожат,
Где проступает тленье...
И. А.

У заброшенного мола
на ветру со всех сторон,
чьё воинственное соло
переходит в хриплый стон,
смотрят сны судеб босяцких
наших - около камней
чайки, что на спинах царских
примостились лебедей.

Брезжит свет фаворский горний
и зазывно далеки
над пучиною озёрной
Альп с их музыкою чёрной
призрачные ледники.

...Схож с походным лазаретом
просквоженный променад.
Знать, пронюхавший об этом
в месте злачном ваккурат
ворон тучный в листьях палых,
ковыляя, ищет снедь.
Тлен спрессован в их обвалах.
Но и в наших душах малых
есть таинственное ведь!

Влито в каждую излуку
столько нежной желчи там,
что зачем они друг другу,
не понять вовеки нам.

...Сквозь ледок воздушной массы
все особенности расы
белой – в сумерки видней
и похожие гримасы
дрёмных – в дрейфе – лебедей.

ноябрь 87

ЗЕМЛЯ*

1

Какою горечью
впрок душу напитала
мою невольничью,
когда б ты только знала!

Поля лоскутные
к военным поселеньям
впритык и людные
по воскресеньям

погосты с хлопьями
вороньих стай галдящих,
ограды с копьями
вокруг на дне лежащих.

...Раздав имение,
юрод и богомолка

---

* *Впервые опубликовано в московском самиздатовском альманахе "Выбор" № 4.*

в своих владениях
мы бедствовали долго.

Изгой и пария
подслеповато,
поддав, кемарили
под боком у заката.

И возле осыпей
ворсилась перед нами
рожь низкорослая
с седыми васильками...

О оскудевшая
и испитая,
когда-то тлевшая,
теперь сырая,

по праву сына я
в чьём чёрном списке,
земля единая,
хотя в раздрызге,

и неделимая,
не отражая,
шепчу: родимая!
– тебе, чужая.

2

Желток ампира с мордой львиною
в ноздре с кольцом.
Я пацаном стою с повинною
перед крыльцом.

О пир для глаз!
Но слеп сегодня я.
И преисподняя
не отпускает нас.

От каждой вещи
разит бедой.
Позднее позднего мне смысл открылся
вещий
приниженности той.
Росли в провинциях емелями.
А в грозный час
на стенку стенка шли с портфелями,
и вожаки блатными фенями
подбадривали нас.

И так сходились врукопашную,
что было на весах
победы потных однокашников
цыплячье, но тем паче, страшное
светило в небесах.

Кажись, кому именья розданы,
тому служи.
Но в сумерки грозноморозные
куда-то юркнул неопознанный
зверёк с межи.

Мы – однолюбы
в который раз.
В который раз архангельские трубы
оповещают нас

о днях коклюшных.
Прожорливая тать,
особо жалкая в своих посулах ушлых,

земля родимая, ты приучила душу
чего-то ждать.

ноябрь 87

ПАМЯТИ ДЕТСТВА

В глазах колокольчиков рябь
с иваном да марьей взахлёст.
Репьём заросли погреба
погоста с крапивою в рост.

С малиной парным молоком
рок мальчика впрок напоил
полярно и недалеко
от тех безымянных могил.

...И вдруг открывается дверь
в чистилище, звякнув крючком,
где занят ещё и теперь
топчан говорящим сверчком.

Те сны, удлинявшие дни,
не видные даже родне,
и стали закваской, и
они и сегодня при мне.

В сосновом бору
ворон растревоженных грай,
как будто им не по нутру
отечества шаткий сарай.

Я пёк там картошку в золе,
чей жар посегодня во рту,
играл на бесхозном дворе
с потомками красных в лапту

и пыль поднимал, городков
враз палкою кон раскатав,
снетком ускользал из садков
в речной зарябивший рукав...

Летите ко мне напролом
из той тишины, голоса.
Слепите толчёным стеклом
над той темнотой, небеса!

Пернатым крылом
архангел согрел полюса.

июль 88

METAMORPHOSIS

Уже ль отпустится
моё бесовство мне?

И. Л.

От каждой станции
и поле и откос
– весь север Франции
сурепкою зарос,
чью зыбь лимонную

готова придавить
гроза стотонная,
и так тому и быть.

Так получается,
когда своя дотоль
земля меняется,
и в грудь стучится боль.
При блеске молнией
распоротых рогож
я вижу корни и
иные стебли тож.

Шустрящим сусликом,
медлительным червём
– я в землю русскую
ещё вернусь потом.
Ветрило спелую
листву распотрошил.
Я так и сделаю,
как, помнится, решил.

На полном вёсельном
разогнанном ходу
ещё по осени
по озеру пройду.
Подлещик с красною
под жаброй бахромой,
волну грабастая,
ещё вплыву домой.

За шкурку беличью
свободой заплачу,
точнее, мелочью.
А лучше прилечу
клювастым вороном

умолкнуть на меже.
Пропаще, холодно
и радостно уже!

14.5.86

Евгений ВЕРТЛИБ

В. Шукшин и русское духовное возрождение

Шу́кша – льняная ко́стра, то есть волокна, остающиеся после трепания и чесания льна. Это "очески конопли". Фамилии Шукшин нет в "Ономастиконе" С. Б. Веселовского. В ней тайна тюркского звучания: suksumur – от санскритского suksmaila – растение кардамон, помогающее исцелению болезней от ветров. Ветер ненастья уже в первом произведении Василия Шукшина – "Двое на телеге" (1958). Шукша, по мнению черемисов, есть такое божество, которое неотлучно пребывает между людьми, примечая действия каждого человека, записывая его пороки и добродетели и тотчас относя оные к Богу... Так и Шукшин: на 46-м году своих земных дней "понес Богу" правдивую картину нравственного состояния нынешней России.

Смерть настигла его во сне. И он чуял её. За день до того Шукшин взял булавку, опустил её в баночку с красным гримом и стал чертить что-то на обратной стороне болгарских сигарет "Шипка". Сидевший рядом друг его Бурков спросил: "Что ты рисуешь?" – "Да

вот видишь, – ответил Шукшин, показывая, – вот горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны". Разин "взял его к себе". По некоторым сказаниям, этот мятежный образ, олицетворяющий собой муку мирскую, должен явиться опять, когда увеличатся грехи и страдания людей. Он являлся Шукшину ночами, и Василий Макарович бросался навстречу гостю со словами: "Я Вас долго ждал, Степан Тимофеевич! Об-бождите и Вы меня, б-батюшка. Ещё чуток обождите..."

"Я пришел дать вам волю" – название киноромана Шукшина. Эта усеченная фраза – из "Трех путешествий" Я. Я. Стрейса: "За дело, братцы! Нынче отомстите тиранам, которые до сих пор держали вас в неволе хуже, чем турки или язычники. Я пришел дать всем вам свободу и избавление... будьте мужественны и оставайтесь верны".

Разиным Шукшин жил все отпущенные ему Богом дни. Его Степан горел одной страстью – "тряхнуть Москву" и утвердить на Руси свободу мужику. Сколь ненавистны Разину страх и рабство – столь же изначально прокляты они народом. "Мы с той поры, – пишет Шукшин, – крепко запомнили: заступник найдется! Предводитель сыщется. И пусть он будет крепким..." Раз зло во всеоружии, "пусть и добро вооружается!" Уже в первом наброске "единственного поэтического лица нашей истории", как сказал Пушкин о Разине, – Шукшин дает картину внесудебной расправы над человеком: "Сеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана... Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Хрипели... Глумились. Топтали могучее тело. Распинали со-

весть свою. Били по глазам". А кончается этот один из первых шукшинских рассказов словами: "По поселку ударили третьи петухи". Финальная сказка-быль Шукшина так и называется – "До третьих петухов". Почему?

Вспомним Евангелие от Матфея о том, как Сына Человеческого положили взять хитростью и убить. Один из двенадцати учеников предаст Его – Иуда Искариот. Иисус веще предсказывает апостолу Петру, что "прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня". Так оно и происходит. В третий раз, когда он начал клясться, что не знает Сего Человека, вдруг запел петух. Над Христом глумились: дважды "плевали Ему в лицо и заушали Его; ударяли Его по ланитам... и... били Его по голове..." Новое варварство истязает человека без свидетелей – уголовщина, страшнее Христовых времен. Распинанием совести – темой предательства – начинается творческий путь Шукшина и тем же, на другом витке спирали эволюции, кончается. В "Мастере и Маргарите" Михаила Булгакова с третьим петухом изгоняется вампиризм, наваждение сталинского лжевоскресения на "великом бале сатаны" – прогоняется нечистая сила, околдовавшая Россию. Шукшинский петух принес благую весть о Воскресении Руси.

Разинская тема – преступление и наказание – пронизывает всё шукшинское творчество, *бесперiодное* по своей художественной природе. Она рельефно проступает в "Думах", косвенно отражается в раздумьях над второй книгой "Любавины": черты характера Макара Любавина и Разина – в Егоре Прокудине (кстати, фильм "Калина красная" снимался под Белозерском,

где в конце 60-х годов Шукшин выбирал натуру для своего фильма "Степан Разин"). Егор Прокудин как бы перенесен в XVII век и назван Стенькой Разиным. В третьей новелле фильма "Странные люди" Шукшин вернулся к рассказу "Стенька Разин". Множество фигур, вырезанных Васёкой в рассказе, Шукшин заменил одной фигурой связанного Степана. Слезы сменились грозным гневом. О Егоре Прокудине родители Любы Байкаловой - невесты его заочной - говорят: "Стенька Разин нашелся" (метафора-намек на память о теме). Любимая песня Пашки Колокольникова ("Живет такой парень") - "Из-за острова на стрежень". Шукшинский Разин, как и Прокудин, втайне ищет своей смерти - под Симбирском, где, как известно, "родился обыкновенный мальчик Ленин". Одно рождение отобрало право на жизнь вольную - другого.

"Сказка про Ивана-дурака" ("До третьих петухов") кончается открытым призывом к восстанию: "А пошли на Волгу!.. Чего сидеть? Сарынь!.." Со словом "сарынь" раздался трубный глас петуха: "то ударили третьи". Пусть эти библиотечные герои испугались пока даже не милиционера, как у Андрея Битова в "Пушкинском доме", а метлы уборщицы. Петушившийся атаман-заводила оказался трусливым предателем идеи возмездия праведного - шапку свою на полу не признал. Не такого ли "атамана" - тоже "чурка", но "потолще" - Алеша Бесконвойный казнил: ставил на широкий пень и тюкал по голове! На что уж Фрол - самый умный был есаул у Разина, а предал первым! Такого рода "оппозиция", по Шукшину, - одна поза, суета сует. Не об этом же и

записка писателя, найденная после его смерти: "Нет, ребята, 'могучей кучки' не получилось. Жаль"?! Атаманова шапка так и остается пока не поднятой. Когда Шукшин дописывал про эту шапку, к одной из дверей на "Мосфильме" прибивали табличку: Съемочная группа "Степан Разин". В этом произведении отрекшиеся от атамана – за предательство поражены "слепотой", они не видят воли вольных: "Я дал волю, – убежденно сказал Степан". – "Как это?" – "Дал волю... берите!" – "Ты сам в цепях! Волю он дал..." – "Дал. Опять не поймешь?" – "Не пойму..." Людям была дана воля на свободу, свобода воли на избавление от гнета, но предатели атамановой воли предпочли остаться рабами. Так погорелая деревня Шукша мелькнула прощально в романе шукшинской жизни "Я пришел дать вам волю". Так сам Шукшин оказался распятым на собственном кресте совести, который он нёс по мукам несгибаемо.

У него счеты с властями свои. В 1933 году ОГПУ арестовало его отца, погибшего в лагерях. С детства Шукшин ненавидел тип безобразного "активиста": "Ты людей раскулачивала... Ты же самая первая кулачка! Ты всю жизнь над людьми изгилялась. – Он вдруг с ужасом понял, что *они* бывают страшны" ("Мой зять украл машину дров!"). В раннем рассказе "Мечты" автобиографический герой задумал "тайно бороться". Критик В. Коробов, комментируя этот момент в судьбе писателя, попытался всё спихнуть на "игру воображения". Но Шукшин, как известно, не любил пустых мечтаний. То, что он поведал в "Мечтах", никакая не "самодеятельность на клубной

сцене"! Это первые проблески взрослеющего сознания, первые мысли о государстве. В "Штрихах к портрету" конкретизируются эти первоначальные мысли о несправедливой социальности: человек задается вопросом, *почему* на него орут: "Мой разум не мог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе... Я оглядывался вокруг себя и думал: 'Сколько всего наворочено'. Так постепенно я проникся мыслями о государстве".

Первым ценителем этих исповедальных "штрихов к портрету" оказался начальник милиции. Он, как и положено, арестовал шукшинский автопортрет на "прочтение дома". В рассказе "Миль пардон, мадам!" появляется угроза расправы над вольномыслием: "Ведь тебя... засудят когда-нибудь! За искажение истории...". Уголовного кодекса не знал тогда Шукшин, и герой его ответил соответственно тому: "не имеют права, это не печатная работа". И у "чудика" та же фамилия борца с беззакониями в стране – Князев. Зовут его Василий Егорович. Имя Шукшина. Отчество – земное: Егорий – покровитель земледелия, надежда труженика земли. Егора в "Калине красной" окрестили в "малине" Горем, даже имя хлебопашеское ликвидировали те, которые сродственники с "голубыми кантами".

Шукшин грозит мафии: нет, я просто так вам мужика не отдам. И от слов переходит к делу, от потаенности до поры до времени – к открытому протесту во весь голос. "Всё время, – сказал Шукшин перед кончиной, – я хоронил в

себе от посторонних глаз неизвестного человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного". И в одну из ночных бесед с актером Георгием Бурковым писатель "пришел к выводу, что наступает в жизни творца такая минута, когда он просто обязан обозначиться во весь рост, 'расшифроваться', и сказать обо всем, что любит и ненавидит, прямее прямого и громче громкого, и не пугаться, и даже ждать гордо – будущих нападок, обвинений во всяких 'измах' и кривотолков..." Шукшин, как видно, решился, говоря словами Солженицына, "головой легонько рвануть – петля ли порвется, шею ли сдушит". Перед смертью пробил час для писателя отбросить немую борьбу за тайную свободу, покончить с проказой эстафетной подлости "вынужденных" компромиссов, с благословением великой хитрости живого. Иными словами, Шукшин плюнул на клятву воздержания от правды, чем и является, по Солженицыну, соцреализм.

Местом Лобным воскрешения доблести мужа судьба избрала близость к шолоховской резиденции (дело было на Дону), временем – лето последнее шукшинское, когда снимался фильм по Шолохову "Они сражались за Родину". В институте психиатрии имени Сербского писателю, вне сомнения, поставили бы за ночной разговор с другом тот же диагноз, как в свое время аспиранту из Вильнюса Вацлаву Севрюку, – "мания марксизма и правдоискательства". Печально, что критик эмигрантский Владимир Соловьев дал психокарательное заглавие статье во "Времени и мы": "Василий Шукшин: мания правдоискательства". Мания –

это форма психоза душевнобольного. Виктор Некрасов, приведший Шукшина в "Новый мир", не находил в коллеге "ни одной фальшивой ноты, ни единой". Шукшин, как и Твардовский, не имея свободы сказать полной правды, "останавливается однако перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра, – как говорит Солженицын, – не переступил, нигде".

Шукшинский дипломный фильм во ВГИКе "Из Лебяжьего сообщают", где пусть и "наказуемая", но есть же крамольная фраза – "в никакой коммунизм вообще я не верю" – так и не вышел на экраны. Важно, что в фильме этом участвует артист Леонид Куравлев (роль Саньки) – эквивалент Пашки Колокольникова, идеи "стихийного образа жизни". В тоталитарных условиях возник характер человека-недогматика, порывистой разумной души. Как и антигерой "Записок из подполья", шукшинский персонаж отверг обывательскую пользу, "норму поведения" и ведет себя алогично в глазах мещан. Только не злоба в нем, в отличие от создания Достоевского, а наоборот доброту людям развозит он на своем "газике". Новый Иванушка-дурачок, "пирамидон проклятый" пародирует глупость глупого мира, советских "глуповцев". Попутно, как заметил Лев Аннинский, Шукшин переворачивает классику. Например, сватовство, брак по чужому, родительскому расчету. В классическом варианте "живое чувство" должно "взбунтоваться" против такого насилия! Так было в классике. Но Шукшин ставит вопрос наоборот: а что если *живое* чувство *совпадает* с этим искусствен-

ным сватовством, что ж и *ему* бунтовать "по традиции"?

Так в перевернутом мире фальшивых купонов душевность надела на себя личину придуривания, чтобы поставить всё на свои места. За "такого парня" – "идейную неразбериху" некая Л. Крячко, "октябристка", окрестила Шукшина чуть ли не мракобесом ("Ведь даже лучшие учителя дореволюционного земства пропагандировали среди свои учеников какие-то демократические, социальные идеалы", а тут "вселенская любовь, всеобщее милосердие и доброта"), а с другой стороны – фильм с Колокольниковым премирован "Золотым львом св. Марка" на 16-м Международном кинофестивале в Венеции. Вот вам и "свой среди своих".

Диплом кинематографиста достался ему дорого. Он дрался с милицией, "плясал и плакал, плакал и плясал" за "справочку", как его Иван из сказки "До третьих петухов". После института он пять лет боролся за московскую прописку и обитал в столице на положении полулегальном. К нему, как к таланту "от земли", кинулись мракобесы, чтобы привязать к своей колеснице. Софронов поселил его у себя, у своей дебелой дочки, разведя её с прежним мужем. Каково было ему печататься в "Новом мире" у Твардовского, а домой ехать к Софронову. Жизнь подталкивала его в спину – к шолоховым и софроновым. Сердце же рвалось к правде. Потом уже – под повесть для "Октября" – Кочетов устроил ему прописку в Москве. На окраине Москвы, в Свиблово, до рассветной пасмури работал Шукшин. Утешением было то, что "за окном

лежал живописный пустырь" ("Там, вдали"). Незадолго до смерти дали ему четырехкомнатную квартиру на улице Бочкова в Москве, хотя он уже ничего не хотел от властей и уклонялся от этой подачки.

На Шукшина очень сильно повлияло время торжества "Одного дня Ивана Денисовича" и "Матренина двора". Его герои самораскомвоировались. Алеша Бесконвойный захватил у государства своё законное право на отдых. В "Кляузе" вознесся вопрос "Что с нами происходит?" Доколе терпеть издевательства, как сам больной Шукшин испытал на себе в вестибюле московской клиники пропедевтики на Погодинской улице? И после всех безобразий какого-то распоясавшегося хама врачи этой больницы ещё и обвинили писателя в том, что он их "оболгал"! Невозможно жить, когда душу постоянно отравляют дерьмом. Это прямо конец света! "Я вдруг почувствовал, - пишет Шукшин, - что всё, конец..." "Кляуза"- вопль обнаженного сердца - появилась в "Литературной газете" 4 сентября 1974 года, а 2 октября в станице Клетской Волгоградской области Василий Шукшин скончался.

В шукшинский огород полетели и летят до сих пор камни со всех сторон. Сплетнями и легендами обрастает его имя. То его тычут антисемитизмом, то толкают в объятия КГБ, то втискивают в крепостнические границы деревни-матушки и делают из него городское чучело, то просто отказывают ему в таланте, считая славу его всенародную - политической спекуляцией...

Прорыв в культуре, начатый осенью 1953 года статьей Ильи Эренбурга "О работе писа-

теля", подхватил сибиряк Владимир Померанцев, опубликовавший очерк "Об искренности в литературе" – за что поплатился Твардовский своим постом в "Новом мире". Но и после появления "Одного дня Ивана Денисовича" и провозглашения конца прежней рептильной литературе (16 октября 1966 года – дата обсуждения первой части "Ракового корпуса" в ЦДЛ), в 1968 году Шукшин "допускает", что "общество живет в лихое безвременье". Для ликвидации жандармских последствий сталинщины писатель предлагает двуэтапный выход страны из устойчивого безвременья. "И вот, – пишет он, – в такое тяжкое для народа и его передовых людей время появляется в литературе герой яркий, неприкаянный, непутевый" (первый этап: под звездой Пашки Колокольникова). Потом уже появятся "другие герои – способные действовать".

Параллельно со светлодушевным путем противостояния лжи и ханжеству писателем продумывается потенция людей несломленных, несущих волком в зубах свою волю к свободе. Деяния таких персонажей обычно упираются в "участок" – место встречи себя и государства. Их явно преследует неудача: один – за прорыв к своему запретному празднику – награждается новым тюремным сроком; другой – убивает себя сам при помехе осуществить сполна свою волю; третий – может-не может переступить через самого себя, как Родион Раскольников, и сам ищет своей смерти, чтобы прекратить изматывающие колебания "между собакой и волком".

На пути индивидуального самоутверждения героя писателем экспериментально не исключа-

ется и кровь "по праву" идейной необходимости: "исключительное право души, способной жить *целенаправленно*". Через труп – когда всё испробованное не принесло желанного результата (ср. с "Днем открытых убийств" Н. Аржака). Это – теоретически допустимая разрядка "квинтэссенции души" на вершине "мучительного поиска смысла и назначения бытия". Но за этим волевым актом кончается гуманизм как таковой, с омертвением совести самоликвидируется сама идея: высокое предстает мелко-бесовской пошлостью, серой обывательской чертовщиной. Крайний верх "равен" крайнему низу. Это уже не борец, а подлец, подобий которого везде навалом, как убогой злой мелкотравчатости в обыденной жизни. Вспомним: и один из разбойников, распятых с Христом, поносил Его, "социально чужого". Эта "раскольникова проба" по-христиански несостоятельна, как известно. А если так, то может ли человек вообще жить без людей (задумка продолжения "Любавиных")? Вычеркнуть себя из социума – в тайгу звериную удалиться, например? Ведь добровольное заточение гораздо тяжелее принудительного. Это мы знаем ещё от Чехова: герой его просидел-не просидел на спор 15 лет (за пять часов до условленного срока "вышел сам", нарушив пари). Это теоретическое допущение Шукшиным не реализовано, как и Мандельштамом, в свое время задумывавшимся над планетой без людей. Шукшинский же "бесконвойный" – только двухдневник внесоциальный, и то "при людях" (семья рядом), хотя и с понятием, что людей труднее любить, чем огонь, степь, детей.

Значит, в качестве рабочей схемы примем: первый путь – от Пашки Колокольникова до "чудящих" противленцев. Где-то к весне 1973 года, как свидетельствует артист Леонид Куравлев, сам Шукшин был готов "убить" своего Пашку – драматизм обстоятельств заставил прекраснодушие вооружиться. Прокудин в этом смысле – связующее звено между "первым" и "вторым" типами-путями к светлому добру: на дне души он "наивный добряк".

Второй путь – любавинско-прокудинский: идея заостряется до криминальной всепозволенности или самоубийства со злости (когда "чаю не дают напиться вволю", говоря словами Достоевского) на мир "сытых" и на свои слабости "слишком человеческого" свойства. Отголоски ницшеанства, русское суперменство – рьяное "западное" волевое, головное, мёртвоточечное начало; цель оправдывает средства, поэтому все средства хороши для достижения цели (пушкинский Германн, Раскольников – картой, топором ли – чем угодно, только к цели "неподвижной"). Когда цель эта головная наталкивается на непреодолимые препятствия, она деформироваться может, стать самодвижущейся мишенью, и как следствие этого – перекос фокуса, аберрация; тогда носитель идеи такой может принять за неё совсем не то, но жить – стремлением к её реализации (о подмене, самообмане герой не догадывается столь же неистово, как и раньше; если же герой "сразу опомнится" – подравнивает топором же заветную стезю, просеку межлюдскую, "межукладную", "между двух берегов", между молотом и наковальней, между Добром и Злом. Шукшин и исследует это психологическое экзистен-

циальное состояние между двумя крайностями. В этом его русский максимализм, отвергающий полумеры и теорию прошлой классики – "малых дел".

Коли жизнь "вообще без людей" вряд ли возможна, а на подвиг-любовь к мерзкому ближнему не способен, то что же остается герою? – Самоубиться или попробовать "стать человеком" – оставаться "гордым" до конца или смирить гордыню честным компромиссом с "объективным злом"? У Шукшина герой предпочитает оставаться самим собой, демонстрируя по-шопенгауэровски "неизменность характера", полное неприятие по большому счету компромисса между добром и злом. В мелочах – да, в принципе – нет. "Моральный кодекс строителя коммунизма" без христианских активных добродетелей в нем для писателя просто не существовал: "Не представляю, – писал он, – себе коммунизма без добрых людей, не верю в такой коммунизм и не хочу такого".

Вместе с тем Шукшин избежал односложного морализаторского ответа, он просто предельно сблизил эти две концепции человека, два противоположных пути – "к людям" и "полного отчуждения" – и не развел их восвояси. Не потому ли и гадают над судьбой Егора Прокудина: "перевоспитался" ли он в лагерях или так и не дошел до Человека, "заело" на пути? В этой болевой точке расщепленного сознания сошлись две проекции: светло-душевного мира и костоломно-любавинского, Бог и дьявол, только не усредненный вариант судьбы. Хотя диалектически крайности "совместимы", как

свет и тьма (сумрак, рассвет), деревня и город (пригород), добро и зло, но там, где "детская слезинка" или зло намерено восторжествовать – позиция авторского "я", особенно к концу жизни писателя, была непреклонной: зло, как и в традиции русской деревни, душилось в зародыше, на миру, самими персонажами – осмеянием порока или даже жесткой физической расправой. "Диктатура" добра в смертельных исходах необходима, а в ординарных – кто кого одолеет (сердце рвется к объективной справедливости, но язык "от автора" не мешает персонажам выявлять себя до конца). Единовременное присутствие крайностей в человеке позволяет говорить о "*неединстве противоположностей*" в шукшинском герое.

По линии "душе разгуляться", Спирька ("Сураз"), как и Раскольников, – и преступник, и жертва в одном лице, "самоубийцы" они с Егором Прокудиным. А Степан Разин шукшинский – "идеология" серьезная, всерусская; это уже не "самодеятельность" души, с правом "почесываться" когда угодно, а синтез черт всех героев и истории русской, со всеми её перегибами образующий облик народного бунтаря. В этот *третий путь-судьбу* вливаются все шукшинские "штрихи", "наброски", "пробы", ручейками слиянными образуя вольное русло свободной реки. Добро и зло в нём – в сложнейшей концентрации. В романе "Я пришел дать вам волю" сказано: "Где есть одна крайность – немыслимое терпение, стойкость, смертельная готовность к подвигу и жертве, – там обязательно есть другая – прямо противоположная..." Все крайности сбежались в Разине, что вовсе не отвергает наличия у дру-

гих шукшинских героев с в о и х путей-дорожек, индивидуальных судеб.

Итак, Разин, "обменявшись рукопожатием" с Прокудиным, пошел, как в сказке, походом на Москву - понес, как оказалось, буйную свою голову на плаху золотоглаволобную. Пойдешь прямо - голову потеряешь (шапка атамана в библиотеке - символ её) или свободу обретешь (волю люди не узрели, свободы не получилось). Реставрировать казацко-крестьянский уклад в СССР Шукшину не удалось.

Пашкина дорожка - христообразная в идеале. На ней тумаки, но и стремительные нечаянные радости. Здесь, в целом, деяния по совести, даже если быть счастливым (ср. "Мы" Замятина) "принуждают", при этом разрушая природный порядок вещей. "Глас" чудика - апостольско-солженицынский, прокудинский: "Люди! Давайте любить друг друга!"

Противостоит ему, или диалектически "совмещается" с ним формула другой конечности - без креста, надсадно-отпетая, кроваво-дерзкая одержимость "заглянуть в пропасть". В реальности - это когда нервы сдают, а руки никак не опускаются. Бесноватый порох, психобеспредел воли головной. Крестный путь и антихристский могут сойтись, даже единовременно сосуществовать в двойнической форме проявления одного характера, чаще - взаимоисключать друг друга (из амбивалентного чувства притяжения-отталкивания), сходиться и расходиться на исходные рубежи. Этот двойственный по своей природе тип довольно неустойчив в экзистенциальном смысле. При разводе полном "половин" - враги ("брат мой - враг

мой"). При неполном, что бывает чаще, – "смесь красот и безобразий".

Таковы пути измерения судьбами-характерами "шукшинской жизни" – творческой "эволюции", которой, кажется, вовсе нет: он явился и вывалил, как сказал Аннинский, *сразу всё* из принесенного с собой "мешка". В разные жизненно-творческие "периоды" Шукшина возникали т о л ь к о новые силовые линии симпатий *внутри* неизменных типологических структур. Сам писатель, подводя итоги жизни, сказал: "Написал *две-три* книжицы и сделал два фильма – 'Печки-лавочки' и 'Калину красную'. Остальное сделано просто для овладения мастерством, для самого существования". "Две-три книжицы", по моему, и есть судьба найденных Шукшиным двух-трех (если "прокудинский" путь считать слиянным с "пашкиным", то – два; если нет – три) типов человеческих, которые в линейном измерении сравнимы с "эволюцией" писателя из "мешка-пучка", с р а з у принесенного с собой добра, – в три стороны света-несусвета: Небесный, Подземный и Земной – Пашка, Любавин, Разин.

И к ним же – "картинки", картины "Печки-лавочки" – к Пашке-"анекдоту ходячему" (не дают быть наивным, за искренность сажают даже), "Калина красная" – к Прокудину ("между собакой и волком" – в пушкинско-соколовском контексте). Отсутствующее звено – вне сомнения – относится к Степану Разину, осуществление замысла поставить фильм о котором оборвалось со смертью автора.

Свой творческий путь Шукшин, как и Пушкин, например, мыслил в этических категориях.

Биографические обстоятельства – "вторичны", лишь как условное обозначение тех внутренних изменений, которые претерпевала его проза. И. Киреевский по "характеру поэзии", "различному воззрению поэта на вещи" уловил возможность "определить возможности и содержание" каждого пушкинского периода творчества. С Шукшиным это не получается: его творчество "об одном и том же", стержень, однажды обретенный, то раздается, то сжимается – и "раньше", и "позже". Нет у него дат ни под одним рассказом. "Бесы", например, появляются уже в одном из первых рассказов – "Гоголь и Райка" ("на печке никакая нечистая сила не страшна... Покрутятся до первых петухов и исчезнут"), и не исчезают из шукшинского творчества до последних страниц, "до третьих петухов". Витки спирали – иногда "ниже прежних" – тоже плохой ориентир в установлении границ "этапов" пути писателя.

Только очень условно можно применить к Шукшину пушкинскую поэтапность, предложенную Киреевским: сначала был "исключительно поэтом" ("светлые души" Шукшина), потом – "поэт-философ" ("стремление к самобытному роду поэзии" – у обоих) и в конце, к концу жизни: у Пушкина – "способность забываться в окружающих предметах и текущей минуте", у Шукшина – обнажение себя во весь голос и в полный рост таланта. Оба в "третьем периоде" способны возвыситься до создания национально-самобытных произведений.

Хотя разрезать на "периоды" цельное творчество Шукшина, повторяю, нельзя: их или "вообще нет", или он весь – "средний период",

без начала и конца ("переходные формы", свойственные "серединности", есть и в начале, и в конце его пути), но условно всё же можно говорить о его творческих "этапах", соответствующих росту мастерства и приходу-уходу тех или иных социальных моментов. В таком случае, р а н н и й Шукшин – это сентиментально-суровый правдоискатель: спокойная сила, терпение от опыта прочности и устойчивости. Это годы не ученичества, а вызревания мастерства, инкубационный период зрелости: 1958–1962 (появление "Одного дня Ивана Денисовича") – 1964 – от "Двоих на телеге" до "Критиков". Появление характера судьбоносного – 1960. И второй "этап" – Шукшин "настоящий", как говорят: 1964–1974. В эти годы он встал на сторону "кругом неправого" ("Живет такой парень"). Изжил придуманную за него другими проблему "село–город" (когда "очкарик" спас сельского парня; разные люди бывают и там, и там. Появились не социальные, а скорее психолого-характерологические полюса: "тихий чудик" и "заводной мужик", бандит и человек, Оптимист и Пессимист. Мысли о России-синтезе. Разин. От "Критиков" до "Кляузы". Уже обе ноги "на берегу" (а то – одна "в лодке" была) твердой нравственной безотносительности. Но и "бесы" увязались. В результате – сознание "распятости" триединым ремеслом, призванным способствовать преобразованию мира, разрыв сердца – света конец после мифологически-притчевого "похода на Москву". Публицистика ворвалась открытым текстом в прозу. Фантастический т р а к т а т о рус-

ском национальном характере – "До третьих петухов".

В СССР Шукшина творения хотят "подравнять", вкрутить его слову недостающий идеологический смысл, втянуть его в партийную иерархию "ценностей" чуждых. С этой целью при переиздании его вещей изымаются целые фразы, абзацы, даже страницы текста, пытаясь свести совестливую, до страдания болевую прозу Шукшина, её точно адресованный социальный протест – к безобидному мужичьему балагурству и хмельному куражу. Остросоциальное лишается глубины, сверкая поверхностью. "Надо, – писал Шукшин, – уважать запятую. Союз 'и' умаляет то, что следует за ним. Читатель привык, что 'и' только слегка усиливает то, что известно ему до союза. О запятую он спотыкается... и готов воспринимать дальнейшее с новым вниманием. 'Было пасмурно и неуютно'. 'Было пасмурно, неуютно' ".

Некий советский критик Д. Дубровин вбивает осиновый кол в синтаксис Шукшина: "Иные теперь готовы забальзамировать с причитаниями чуть ли не каждую его запятую". С мертвым писателем им легче расправиться, издеваясь над его творениями. Конечно, ряд проблем при переиздании понятен, ибо связан с отсутствием у писателя унифицированной пунктуации, с нетипичным расположением текста, различным графическим написанием слов, множеством опечаток. Очень непросто, взвесив все "за" и "против", добраться до канонического, дефинитивного текста. Но это вовсе не повод сознательно искажать дух буквы – глумиться над прахом писателя, "помогая"

ему, при жизни отвергшему соцреализм, теперь затыкать собой его прорехи.

Роль Шукшина, после Солженицына, - связать "деревенщиков" с "литературой ГУЛага", чем и созданы предпосылки, в результате синтеза лучшего, для возникновения н о в о й к л а с с и к и, которая прошла уже свой период "бури и натиска" и вышла на мировые магистрали, под гнетом и не без потерь. Наш "шукша-черемис" заострил свое внимание на экзистенциальном состоянии человека - между полюсами Добра и Зла, между старым и новым укладами жизни, между вечным и временным. Как "Слово о полку Игореве" - культурное пограничье между Русью и Половецкой степью (А. Н. Робинсон, Олжас Сулейменов, Д. С. Лихачев такого мнения), так и "Один день Ивана Денисовича" - Рубикон, межа для новой русской истории, которую открыл Солженицын и утвердил в литературе Шукшин. Об этом только догадывались.

В своей диссертации "Шукшин и единый язык правды" я уделил сравнению текстов обоих десятки страниц. Здесь же только приведу общую картину русского духовного Возрождения в историческом плане. Оно началось ещё в недрах сталинского "средневековья" и сравнимо с эпохой европейского Renaissance. Хрущевская "оттепель" - это п е р в а я ласточка подлинного Возрождения, "Ренессанс XII века". С середины 60-х годов, равных по значению XIV веку культурной Европы - в России состоялся в т о р о й Ренессанс, когда "наследие мрачных времен" Шукшиным, Высоцким, Галичем и др. выпарывается и выпа-

ривается из сознания нового человека. Как в эпоху Средних веков были свои Локки и Кондильяки – это Росцелин, свои Кант и Гегель – Гиом де Шампо, свои Декарт, Спенсер и Миль – это Абеляр, так и в жестокую зиму сталинщины зрело предстоящее Просвещение – освобождение от догм – как в самом ГУЛаге, так и под кроваво-черным солнцем на воле. Народные гуманисты эмансипировались (кто с кукишем в кармане, а кто и вовсе замолчал для официоза – говорю о лучших только) от ереси латинствующего грандиоза сталинской "эпики". Религия и идейная правоверность вечному вернули сознание к народно-нравственным истокам, к самой идее национального. В этом смысле, нет худа без добра: не будь "мозжащего пресса" несвободы, рывок вверх был бы не столь резким, скорей всего. С концом схоластики и догматизма советского "Средневековья" пришло царство человека (regnum hominis), себя осознавшей личности.

Если во времена "первого Ренессанса", сразу после сталинского, ренессансные элементы встречаются спорадически, то в наши дни это стало *нормой* – "количество перешло в качество". Язык народа стал "мировым языком" (lingua universalis) порабощенной Европы, преодолевающей упорное сопротивление обскурантов-неосталинистов. Государственная идеология не хотела бы идти дальше "Реформации" – легкого обновления ржавого фасада. Этот догматический "папизм" – душитель свободы и многоверия. Идеология "коллективного руководства", брежневского культа противопоставляет старой "теологии" марксистских задов новую рутину: "одному папизму

другой папизм". Гуманисты же - за всё подлинное: науку, основанную на выводах нравственного разума; искусство, отражающее жизнь во всей ее полноте; за мораль, в основе которой народные критерии гармонии между духом и телом; за индивидуализм - "молодую прозу", разрушившую иерархическую градацию культово-догматических параметров измерения ценностей. Творец-"деревенщик" (выше народа, как сказал Шукшин, не прыгнешь) самовит: он не слепой подражатель лучшего вчера, но и не лженоватор-фокусник на мелкоте топтания на месте. В вечное он вносит своё индивидуально-неповторимое, стремится к тому.

Дряхлый "феодализм", вассальная зависимость детей от часто недостойных отцов был посрамлен Аксеновым, Битовым и др. в нашей литературе. Но их "городские мальчики", напоминающие больше "отверженных" и парижскую богему 20-х годов, пошли не дальше, скажем, американских битников и "детей цветов" (Flower Children).

Миметико-идеологический принцип социалистического реализма, как утверждают А. Флакер и М. Дрозда, "молодой прозой" не был разрушен, затронута была лишь его казенная репрезентативность, "уравновешенность", но не его идеологичность в смысле ориентированности на прогноз.

"Деревенская проза" В. Распутина, В. Шукшина, В. Белова и др. осознала, как говорил К. Аксаков, что "настала строгая минута. России нужна правда. Медлить некогда". Восстанавливается ощущение художественного текста как составной части "текста самой жизни". Будучи очень разными, "деревенщики",

однако, сходятся в своей *принципиальной диагностичности.* И в том, что они не умножают её ни на какой дополнительный коэффициент, призванный возместить недостающие перспективы.

У Шукшина и смех серьезный. Всякий приблизительный, смягченный, подкрашенный разговор о жизни – он безнравственный. Так *боль* народная родила *быль* литературную. Солженицын взорвал "мертвый дом", а "деревенщики" на обломках самовластья выращивают новую культуру, продолжая затоптанную партолигархией "мужицкую" прозу, участвуя тем самым в новом строительстве светлого завтра, которое мертво без сознания и развития корней народных.

В плане стилистическом "молодая проза" раскрепостила слог, пробила, как говорит Г. Белая, броню монологического стиля, она вобрала в себя динамику речи молодого поколения, внесла в литературу социально характерные краски. И все-таки ее стиль был стилем *"круга"*, но не *"целого"*. И устойчивые речевые формы, и броскость, и жаргон, и лихая разговорность – всё это было *сантиметровым слоем вспашки* той действительности, которая жаждала настоящего *"пахаря"*. Неудивительно поэтому, что "молодая проза" вскоре перешла к самоповторению. Стиль прямой и короткой фразы, как у Сэлинджера и Хемингуэя, заострил внимание на внутреннем мире человека и его естественной речи. Эта "рубленая проза", "телеграфный стиль" довольно быстро изжили себя, в то время как тяготение к разговорной речи продолжает быть в центре внимания – у Шукшина, в частности.

"Деревенская проза" продолжила полемику с застывшим, окостенелым, лишенным внутренней убедительности словом и придала ей более серьезный характер. Стремление к предельной достоверности изображения; уважение к суверенности персонажа; сращенность стиля со словом героя, противостоящая прежней обособленности; комплекс прочно взаимосвязанных стилевых координат (автор–герой–читатель); открытый диалог вместо бытовавшего монолога "безгрешного"; органическое приобщение к народно-разговорному строю языка как питательному источнику, раскрывающему мышление человека, и, наконец, выход за пределы "круга" к целому, к народу. Это сегодняшний день нашей прозы.

Как наряду с католической и протестантской церквами в Европе XVI века образовалась "третья церковь", церковь Разума, открывшая путь к идеям века Просвещения, так и *третья культура* – эквивалентное соответствие тому в наши дни. Еще блаж. Августин в своей борьбе с пелагианством учил о двух свободах: libertas minor и libertas maior. Низшая свобода была для него изначальная, первая, которая есть *свобода избрания добра*, она связана с возможностью греха; высшая свобода – последняя, конечная – *свобода в Боге, добре*. Россия – во главе с "деревенщиками" – вернулась уже к изначальной своей первой свободе. Там "всё смешалось", как в доме Облонских. Открыто и трезво происходит переоценка вчерашних ценностей. Все жанры и виды искусства, как и сама жизнь, устали от лжи соцреализма. Вместе с Академией наук СССР, ухватившейся

как за "новинку" за прагматизм и принципы рационального поведения (теория Б. Фрейзера) в тексте, видоизменяется, кажись, и кремлевская ориентация. Номенклатурные карьеристы новой формации, когда "Маркс взял к себе Брежнева", скорей всего поведут страну по прагматически-технократическому пути. Омертвелые идеологические струпья и сусловский догматизм умерли. В рамках обновленных идеологических прерогатив "генеральная линия" возьмет на вооружение польско-венгерскую модель: "благожелательную военную диктатуру" при смешанной экономике.

Говоря замятинскими категориями, "обойден круг". Сама жизнь перестала быть плоскореальной: она проектируется не на прежние неподвижные, а на динамические координаты Эйнштейна. Шукшин вернул прозе короткий динамический рассказ. За анализом настал черёд синтеза. Микроскопические задачки не решают общенациональных проблем, глобальных. От быта - к бытию, от физики - к философии, от анализа - к синтезу. Бытописание - это вчерашняя "арифметика". Она уже бессильна: нужны интегралы от нуля до бесконечности. В новую прозу быт входит только в синтетических образах или только в виде экрана для какого-то философского синтеза. Реализм - тезис, символизм - антитезис и третье - синтез, где, по Замятину, одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям стекла символизма. Неподвижные плоские координаты эвклидова мира - условность, абстракция, нереальность - бесславно умирают на наших глазах. А с ним и соцреализм, которому советские ученые (в

частности, проф. Макагоненко) так и не придумали точного определения. Поздно - его уже нет. Есть реализм, не realia, а realiora, хотя он и не нравится Андрею Синявскому.

По-замятински Шукшин декларирует, что писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре! Ворвавшаяся в текст прямая речь позволяет Шукшину крепко поубавить описательную часть. Язык городской - "стертый язык", заезженный и изнасилованный, а в деревне говорят красиво, гибко, певуче, образно. Отвергая оппортунистский городской, "сорочий", как говорит Шукшин, язык, он в тоже время не использует и чисто старинных речений (не "реставратор", значит, старины), как и самоценного бравирования словечками модными. Отвергая "пудовые описания" и тургеневскую высокопарность словес, он, как и Солженицын, склонен обратиться к словесным обретениям 20-х - 30-х годов. "Мне вообще кажется, - пишет Шукшин, - что наша литература в своей тенденции к описательности несколько сдала свои позиции, завоеванные в 20-30-е годы. Та литература как раз представляется мне куда более современной, отвечающей нынешним потребностям... Время раскололось, поломалось".

Через век "повторилась история": в 60-е годы произошла смена вех в литературно-общественной жизни. Так, в итоговой характериститике Хроник 1863 года Салтыков-Щедрин отмечал драматизм положения, в котором оказались преследуемые реакцией люди "честного идеала" ("ушибы и другие огорчения"; В. Распутина, как известно, избили), давление цензурного гнета на печать ("я никогда не являл-

ся перед тобой в своем натуральном виде, но всегда несколько искалеченным") и рикошетом - эзоповский язык, в какой-то степени нейтрализующий карательные усердия властей. Любопытно, что игнорировали тогдашнюю литературу "всё о правде" - "первейшие агитаторы" (Катков, Павлов, Краевский) за "возрождение", казенные писатели, выдающие за истину "праздные фантазии подкупленного воображения", сочинители фальшивых, лживых лакировочных вещей, наконец, "выдохшиеся и выболтавшиеся литературные авторитеты", смотрящие свысока на "скромных деятелей" новой беллетристики. "Общество, - писал Салтыков,- чувствует, что *если оно останется при прежних своих основах, то неминуемо придет к ликвидации*, и эта перспектива заставляет его серьезнее вглядываться в самого себя".

Получилось, как в сообщающихся сосудах: "Направление литературы изменилось потому, что изменилось направление самой жизни; произведения литературы утратили цельность, потому что в самой жизни нет этой цельности... только материалы для жизни... При таком положении дел литературе остается выбрать одно из двух: или *лгать*, то есть вымышлять картины жизни несуществующие, или же *делать частные наблюдения*, писать отдельные биографии. Но лгать, очевидно, нельзя, потому что всё, что можно было вылгать на старые, избитые темы, всё уже вылгано, а новых тем для лганья жизнь не дает; стало быть, остается идти по последнему пути, то есть *заниматься подробностями*. Когда сумма наблюдений будет достаточно велика, когда выступившие на сцену новые элементы улягутся в общем движе-

нии жизни и найдут каждый свое, тогда, конечно, появится возможность и той *цельной картины*, о которой тоскует русская публика. А до тех пор литература будет в этом отношении настолько же бессильна, насколько само общество бессильно сплотить за один раз все новые стихии, которые находятся в нем в состоянии брожения".

"Малая проза", таким образом, – это отражение самой судьбы России, её переходного состояния. И Шукшин – непревзойденный мастер этого "малого жанра". Русский язык неотделим от русской народности, и критерием условного единства литературы может быть признан только неизменный в основе своей язык народа, не вмещающийся, как говорил Мандельштам, "ни в какие государственные и церковные формы". Слово – плоть деятельная. Социальные различия и классовые противоречия бледнеют перед разделением ныне людей на друзей и врагов вольного слова. Ситуация языка народа русского сейчас *акмеистическая*. Кончилось убогое "ничевочество". На сцене русской культуры *мужественный* творец. Е. Замятин в статье "Завтра" (1919-20) писал: "Нельзя больше молчать. Время крикнуть: *человек человеку – брат!* На защиту человека и человечности зовем мы русскую интеллигенцию". К тому же призывают Солженицын, Шукшин, Распутин и др. "Нравственность есть Правда" – основной тезис Шукшина.

Вся классика и история подготовили новую жизнь. Пушкинской Земфирой убивается поэзия иллюзии. Гамлетизм заканчивается. Начинается серьезность. Нравственное сопротивление героя становится основной темой русской литера-

туры. Евгений и Алеко хотят царства *чистой мужественности*, преодоления эстетики "Великой Жены" ради этики "Мужа". После Толстого "деревенщики" продолжают эту идею, ставшую "поэтической концепцией" творчества и Достоевского. Так "злак" восстал ныне до небес. "Молчи, скрывайся и таи" кончилось. Народное становится общечеловеческим. Как для Достоевского, так и для Шукшина, самые великие слова: "Восстань, пророк, и виждь, и внемли... Глаголом жги сердца людей". "Никогда, – пишет Шукшин, – ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо – *не позволил сшибить себя*; плохо – начинаю дергаться, *сплю с зажатыми кулаками*... Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения". Не о себе ли он сказал в третьем лице: "Они пока держат его на выпасе. Потом – зарежут. И съедят"?!

23 августа 1973 года А. И. Солженицын в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс" и газете "Монд" назвал 14 писателей, составляющих "ядро современной русской прозы". И Шукшин – среди них, пятый. В июне 1974-го Шукшин "из живых" писателей значится в списке Солженицына третьим (перед ним только Твардовский и Залыгин). После Шукшина – Б. Можаев, В. Тендряков, В. Белов да В. Солоухин. Еще Юрий Казаков отмечен, но с оговорками: "И какой же сильный и добротный *был бы*, если бы не прятался от главной правды". Шукшин – этот честнейший, словно "без кожи' человек – не прятался от правды. Шукшин открыто не согласился с официальной

ложью, что "только при Сталине" было плохо: "Было плохо, стало хорошо? *Это же не так...*".

В адрес Шукшина и "деревенщиков" вообще летят булыжники ненависти с *трех* сторон: партаппарата, бывших "самиздатчиков" и "научных" еретиков. Государство тщетно силится "повыломать волчьи клыки" Правде (за "*Третью* правду" сидел Леонид Бородин). Но каратели-смердяковы - не тип, а антипод русского. Вызывает беспокойство, что даже такие, как Андрей Синявский, не понимают или не хотят понять происходящего в России. Так, он пишет: "Открестившись от лжи, мы не имеем права *впадать в соблазн правды*, которая всех нас поведет к социалистическому реализму навыворот". Чтобы напугать перспективой "реализма", критик спекулятивно сближает это понятие с "коммунизмом", синонимирует их и предлагает выбросить эту "парочку" на свалку: почему второй компонент - ясно без слов, а первый - "реализм" - на всякий случай, кабы чего не вышло. Вместо "реализма-коммунизма" - некое абстрактное, нечто *удивительное, экзотическое*. Напрасно Мандельштам надеялся, что "убогое ничевочество" не повторится в русской культуре. Не к нему ли взывает Синявский?! Правда не может быть "за скобками" жизни, вместе с "наказанным" реализмом.

Достоевский на пути русской культуры к правде хотел одного: "Пусть только не будет недоброжелательных выводов, и вот всё, что покамест нужно"; "в этих взглядах *наше всё:* наше развитие, наши надежды, наша история". "Под моими подошвами всю мою жизнь - земля отечества, только её боль я слышу, только

о ней пишу" – сказал Солженицын в 1967 году. Поразился и порадовался писатель в изгнании расцвету "именно на главном стержне русской литературы" – "это труднейшее направление наших *классиков*". Солженицын не оговорился, характеризуя новую литературу как "классическое" направление. В его фразе "впервые крестьяне пишут о себе сами" ожил Толстой, восхищавшийся вещью труженика Т. М. Бондарева ("Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство"), пораженный правдой в образах Николая Успенского, или другим – С. Семеновым – без "вычуров и цветистости", в вершинных проявлениях своих граничившим с бунинским золотописьмом.

Для Солженицына, как и Шукшина, классика – "не икона". Он за прозу, "грубо говоря, *анти*позднебунинскую", замятинско-цветаевский густой синтаксис. Радость Солженицына за успехи крестьянской прозы омрачил Синявский, сравнивший "версию" выдвинутую – с "теорией пролеткульта". Парируя тезис Солженицына, критик не упомянул даже о первой по сути дела крестьянской книге о крестьянах – Ф. Слепушин "Досуги сельского жителя" (1826 г. ; 1828 – переиздание). И Достоевский солженицынского мнения: он признавал заслуги Островского, Тургенева, Писемского и Толстого – первопроходцев, однако, считал, что и "*они все вместе взятые* взглянули на народ вовсе не так уж слишком глубоко и обширно".

"Деревенщики" унаследовали от "старомужицкой" литературы гордое достоинство: не разделять государственных "черносотенных" затей (а Г. Свирский упрекает именно в этом Шукшина). *Беспримесный реализм* "гореведов

земли", их доскональное знание народной цивилизации, всего её лада позволил им занять *свою устойчивую позицию* в ссорах 10-х годов и не поддаться влиянию либеральных, черносотенных или каких-либо иных "готовых" концепций своего времени. Об этом, кажется, забыли Синявский и Александр Янов, видящие в русском Возрождении угрозу свободе. Крестьянский стоицизм на мякине не проведешь. Их "политика неприсоединения" не позволила молодому Подъячеву примкнуть даже к толстовству. Если даже толстовское учение стесняло им свой путь, то что говорить о советских догмах?!

В поисках критерия подлинности критик Юрий Мальцев лучших русских писателей окрестил "промежуточной литературой", дескать это - "разрешенная полуправда". Чем не образчик вульгарного социологизма 30-х годов, когда лучших писателей земли русской обзывали профессора Волковы "поэтами русского империализма"! М. Назаров "усовершенствует" мальцевскую формулировку: литературу меж официальной и диссидентской он называет "литературой частичной правды".

Есть *Литература* (полной правды), а всё остальное, как сказал В. Распутин, - *чтиво*. "Половинчатость" не относится к нетерпимой в искусстве политике. Мария Шнеерсон и Юлия Вознесенская заступились за "деревенщиков": "Дело в общей концепции, и не одного какого-то рассказа, а всего творчества" (сказано первой в защиту Шукшина, который очень кстати поставил ребром вопрос: "Что с нами происходит?"). По Елене Клепиковой получается, что Солженицын - "точка зрения куда бо-

лее тенденциозная, иллюстративная и *примитивная*", а вот Федору Абрамову "реальность важнее тенденции и позиции". Стоит ли внутри общего порыва к Свету наводить порочащие тени?!

Термин "промежуточная литература" – не "уже появился", как почему-то считает Синявский, а всплыл – из двух сборных прошлых моментов. Юрий Тынянов современный ему период советской литературы назвал "*промежутком*", в котором перестала ощущаться инерция предыдущего периода, происходило подспудное накопление художественных открытий (Тынянов, кстати, был дорог Шукшину). То бишь имелся в виду несомненно положительный фактор переходного периода, а не отрицательный.

И второй источник, тоже, по Мальцеву, минусовый: вырван им огрызок из Мандельштама, в момент болезненного срыва поэта: "Какой я к чорту писатель! Пошли вон, дураки!" Мандельштам вышел из себя и сорвался, к сожалению, вовсе не на том – на А. Г. Горнфельде – умном и честном ученике Потебни. И в этот момент ярости благородной (его судили за "плагиат") он "дошел до того", что *все* произведения мировой литературы стал делить "*на разрешенные и написанные без разрешения*. Первые, – сказал он, – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове..."

Но при чем здесь "деревенщики?! Да и, во-первых, "всю мировую литературу" не "посадить за стол в Доме Герцена" – тесновато; во-вторых, "мировая" не укладывается в

понятие "разрешенная"; в-третьих, речь вообще не шла о "промежуточной литературе", а о "мировой", чем *в целом* не является п о к а "деревенская проза"; в четвертых, Синявский знал, что Мальцевым использован его же эпиграф к статье "Литературный процесс в России" ("Континент" № 1), но вида не подал, развивая нездоровый пафос – лишь бы в пику Солженицыну, слегка журя своего сторонника за уж слишком вульгаризированный подход к оценке искусства.

Надежду русскую никому не столкнуть в "промежуток"-пропасть. Полумерки – подростковая одёжка, а *онтологическая проза "деревенщиков"* (название нелепое, но оставляю, чтобы не путаться) – составная часть *явления* общего духовного Возрождения-выздоровления народов СССР и Восточной Европы. Кстати, Мальцев в своем определении "промежуточная литература" само понятие "промежуточности" момента в культуре берет от "некоторых западных критиков", по мнению которых, "существует 3-я русская культура" – "промежуточная, *нейтральная*". Он попытался сделать из "нейтральной" сплошной минус.

Сама схема развития русской литературы – по образцу французской – безбожно устарела: ни один из талантов XVIII века, например, не укладывается в рамки направления "прописки". *Время от Феофана Прокоповича до Пушкина следует считать переходным от средневековой к новой литературе.* Этот "переходный" период – первый литературный Ренессанс, длившийся до первой трети XIX века. И начавшемуся Классицизму наших дней предшествовала эпоха послесталинского Возрождения, которая и создала

предпосылки для новой Классики, о которой говорит Солженицын. "Деревенщики", таким образом, это "стародавний" Ренессанс на новом витке исторической обусловленности. Это - царство Человека и Правды, возрожденное духом времени, которое неподвластно советскому календарю.

Письма генерала Деникина во время Второй мировой войны (1939 – 1946)

*От публикаторов**

Публикуя письма генерала А. И. Деникина, относящиеся ко времени Второй мировой войны, мы опустили многочисленные открытки, записки и некоторые письма, где речь идет о квартирных и других повседневных делах и заботах. Опущены также поздравительные письма, которые никогда не забывал посылать генерал.

В публикуемых письмах многоточия всегда принадлежат их автору. Оригиналы писем хорошо сохранились. Часть их напечатана генералом Деникиным на машинке, другая – большая – написана его рукой.

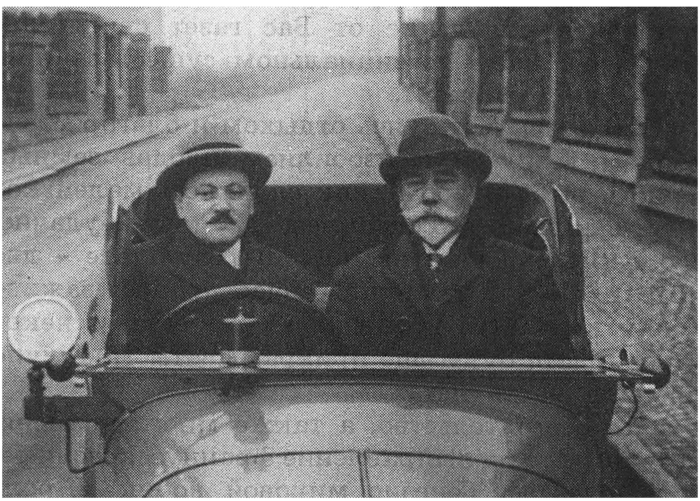
Краткие сведения о жизни генерала Деникина в эмиграции и о его сотрудничестве с полковником П. В. Колтышевым в период 1922–1934 содержатся в нашей публикации: Часть I Писем генерала Деникина (см. "Грани" № 128).

---

* Публикация Н. Н. Рутыча и Н. М. Янова.

Мы еще раз искренне благодарим П. В. Колтышева* за разрешение опубликовать адресованные ему письма генерала А. И. Деникина, значение которых, как источник для истории эмиграции, как нам кажется, трудно переоценить.

Н. Р. и Н. Я.



Генерал А. И. Деникин и полковник П. В. Колтышев (справа) в Праге в 1934 г.

---

* Когда настоящая публикация уже находилась в печати, мы с грустью узнали о кончине полковника Петра Владимировича Колтышева, последовавшей 9 августа 1988 года. Едва ли не последний офицер Российского Генерального штаба полковник П. В. Колтышев похоронен на участке Дроздовской добровольческой дивизии на кладбище St. Genevieve de Bois под Парижем.

26.8.39
Монтэй-о-Виконт

Дорогой Петр Владимирович,

Почему Вы так упорно молчите? Только исправное получение от Вас газет свидетельствует о Вашем потенциальном существовании. Это меня беспокоит.

Жили мы, пользуясь отдыхом и благорастворением воздусей и изобилием плодов земных (грибы, рыба и проч.), как случилось маленькое происшествие: я оступился, да так неудачно, что порвал связки на ноге. В результате - две недели лежу в постели; сейчас процесс заживления кончается и дня через два встану; некоторое время буду еще прихрамывать. Так глупо пропала часть лета.

Это обстоятельство, а также много времени, потерянного на выправление французского перевода работы "Генезис мировой войны и роль России" привело/и/ к тому, что ни за какую капитальную работу* я пока еще не принимался. Да, кстати: если не произойдет чрезвычайных событий, на указанную тему я прочту лекцию у Федорова**; а так как он печатает все лек-

---

* Генерал имел в виду свой последний неоконченный труд "Путь русского офицера".

** Мих. Мих. Федоров - общественный деятель, один из основателей "Национального Центра" во время гражданской войны.

ции, то моя работа увидит свет и на русском языке.

В нашем пансионе живет двоюродная сестра Лебедева - старуха. Сам он - страстный рыболов и охотник - наезжает к нам изредка, т. ч. связь с Парижем поддерживается таким путем. В случае надобности можете ею воспользоваться; помните также наш телефон: Monteil-au-Vicomte № 5.

"Потрясение" от конкубинажа Гитлер/Сталин! Для нас он вовсе не представлял никакой неожиданности. Я лично говорил и писал о возможностях подобной комбинации не раз. Воображаю, каково самочувствие "Посл./едних/ Нов./остей/" и младороссов, воспевавших франко-"русский" (!) союз - с одной стороны, и с другой - продажных Солоневичевских и Туркуловских перьев, которые с пеной у рта писали о "преступности" всяких сношений с державами, заключившими союз с большевиками. Как теперь будут изворачиваться эти прелюбодеи слова и мысли - кандидаты в немецкие концентрационные лагеря...

В январе текущего года я писал: "в атмосфере беспринципности и жадности все возможно: возможно, что Гитлер с Беком пожелают делить Россию, или что Гитлер со Сталиным приступят к разделу Польши"... Через 2-3 месяца получилось официальные подтверждение относительно первой комбинации, предложенной Гитлером Варшаве; а сегодня - союз Гитлера со Сталиным, последствия которого чреваты огромными пертурбациями...

Это был не прогноз, а *самоочевидность,* непонятная, однако, для слепцов из Лондона и Парижа. Теперь они повторяют опять ту же

ошибку, которую сделали, понадеясь на СССР, но в отношении Польши: славословят ее до чрезвычайности и возлагают на нее неограниченные надежды. Между тем, польское правительство изменит и предаст в любой момент.

Пишите же о делах, настроениях и своем житье-бытье. Сердечный привет.

Любящий Вас

А. Деникин

Так до сих пор никаких известий об *общем* собрании Первопоходников в Сербии не получил. Очевидно прошло оно не так гладко, как частное. Филимонов, между прочим, пишет об умирании там "туркуловского движения(!)".

8.9.39
Монтэй

Дорогой Петр Владимирович,

В течение недели мы были отрезаны от внешнего мира: ни почта, ни телеграммы не приходили, телефон не действовал. Удовольствовались совершенно выхолощенными и беспредметными офиц. сообщениями "радио". Эта система замалчивания происходящего (в частности, польских неудач) вызывает полное недоверие к официальным версиям возникновения всевозможных слухов и проч. Англичане сейчас уже поняли это и обещают быть правдивее. Между прочим, в сегодняшней радиопередаче говорилось, что нет в мире страны, где бы так уважали права меньшинств, как в Польше, где бы им жилось так вольготно!?..

Будьте добры прислать хорошую карту Европы – без нее невозможно ориентироваться в событиях.

Не подлежит сомнению, что разгром пангерманизма соответствует интересам Национальной России. Но это – далеко не все. Должен быть разгромлен и большевизм. Западные союзники (англо-французы) должны, наконец, понять, что без Национальной России невозможно восстановление европейского равновесия. Между тем, они даже и теперь стараются только не трогать СССР и совершенно не подымают вопроса о Национальной России – ни прямо, ни, хотя бы, косвенно*.

Для нас, как и раньше, как и всегда, мерилом при оценке мировых событий должна служить двуединая формула: чтобы свергнута была советская власть и чтобы Империя Российская не потерпела ущерба от внешних сил.

Только вчера получил Ваше письмо от 3-го, а сегодня – более старое – от 2-го... Адресуйте впредь мне, а не К.В.** Мой адрес можно давать, но с большим разбором. Мариша в Париж возвращаться не собирается. С Бернацким поддерживаю связь.

Пока, похрамывая, похаживаю вокруг дома. Нога еще не в порядке, и после ходьбы в нижней части припухает.

К Вам большая просьба. Так как не известно – сколько времени мы здесь пробудем, а

---

* Перечтите последнюю мою рус. брошюру и брош. о Пилсудском. – Прим. автора.

** Зачем такая "конспирация". – Прим. автора.

холодное время приближается, то нужно извлечь из склада теплые вещи. Будьте добры заняться этим.

Я просил Вас прислать мне ту ориентировку о русских делах, которая была в затерянном письме. Не получил еще от Вас обратно письма Алексеевой* и постановления собрания Первопоходников. Так о результатах второго, общего собрания никаких сведений не получил...

Вы не ответили мне по вопросу об определении своего положения при мобилизации. Прислать ли Вам удостоверение о Вашей службе в русской армии?

Сердечный привет.

Любящий Вас

А. Деникин

11.9.39

Дорогой Петр Владимирович,

Вчера послал Вам большое заказное письмо. Между прочим, просил купить и прислать мне ленту для пишущей машинки. Так купите две.

Прилагаю "декларацию", которую я послал во французскую печать. Напечатано почему-то не было.

Положение без перемен. Впрочем, обстановка ухудшается, ибо в нашу маленькую деревушку вселяют большое количество эвакуированных.

---

* Супруга генерала М. А. Алексеева, проживавшая в Белграде.

Это отразится, без сомнения, на нашей жизни и удорожит наш обиход.

Привет. Ориентируйте меня почаще о русско-эмигрантской жизни.

Любящий Вас

А. Деникин

Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин — 20.9.39 Монтэй

Дорогой Петр Владимирович,

Переписываться нынче очень трудно. Ваше письмо от 13-го дошло на 7-ой день, одновременно с открыткой, помеченной 16-м...

Я хожу пока еще с трудом. Но главное - не в этом.

Русский вопрос все еще не ставится на очередь. Даже прямое участие советов в военных действиях на стороне Германии не послужило "казус бэлли" и не повело к разрыву дипломатических отношений между западными демократиями и советами. Часть французской прессы, понося справедливо большевиков, оскорбительно и несправедливо валит в одну кучу с ними старую Россию и народ русский... Другая часть - полагает, что надо повременить с осуждением, в надежде, что большевики воткнут еще нож в спину немцам... Если и воткнут, то значит ли это, что можно возобновить "дружбу" с непревзойденными еще в истории предателями? Эти близорукие политики не хотят понять, что такая комбинация чрезвычайно усилила бы советскую власть и подняла

бы волну коммунизма и в Германии, и у них. Эти люди не хотят понять, что в создавшемся положении мира нет другого выхода, нет иного спасения, как в уничтожении в корне и пангерманизма и коммунизма. Как бы сложно и трудно это дело ни представлялось, чего бы оно ни стоило.

Это – одна сторона вопроса. Теперь – другая.

Юридические и бытовые интересы русской эмиграции во Франции может и должен обслуживать существующий эмигрантский комитет Маклакова. Мечта М. М. – создание русского национального комитета – с функциями политическими. Такой Комитет должен быть открытым и признанным, вроде того, какими были во время прошлой мировой войны Польский и Чехословацкий Комитеты. Русский Национальный Комитет должен поставить своей задачей: БОРЬБУ ПРОТИВ ПАНГЕРМАНИЗМА И КОММУНИЗМА ДО ПОЛНОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ. БОРЬБУ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ – ВЕЛИКОДЕРЖАВНОЙ И НЕ УЩЕРБЛЕННОЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ЕЁ ГРАНИЦАХ, ПРИЗНАВШУЮ ЗАКОННЫЕ ПРАВА – СОСЕДЕЙ И НАРОДОВ, ЕЁ НАСЕЛЯЮЩИХ.

Так как предпосылок для такого решения вопроса со стороны англо-французского блока

еще нет, то делать мне в Париже пока нечего*.

Храни Вас Бог, дорогой мой.

Любящий Вас

А. Деникин

26.9.39

Дорогой Петр Владимирович,

Вашу открытку от 21-го получил 24-го. Почта, по-видимому, прогрессирует.

События не радуют. Русский вопрос в тупике. С большевиками воевать не хотят, все еще надеясь на прямую или косвенную их помощь и не сознавая страшной опасности коммунизма, свободно распространяющегося по Восточной Европе, стучащегося в двери Балкан, заглядывающего в Германию и далее, далее... Повторяю паки и паки: если вовремя не осознают и не поставят открыто вопрос, что не один пангерманизм, а два смертельных врага - пангерманизм и коммунизм... Если поставят ставку на Национальную Россию, без задних мыслей об ее племенном и территориальном ущербе, то катастрофы не избежать. Я прекрасно сознаю огромные трудности такой постановки вопроса и

---

* В письме от 13 сент. 1939 г. полк. П. В. Колтышев сообщает ген. Деникину, что в состав Русского Национального Комитета намечались, помимо бывшего посла Временного правительства Маклакова, ген. Деникин, бывший премьер-министр Коковцев (1911—1914) и ген. Витковский от РОВСа, равно как и сам организатор М. М. Федоров.

не ожидаю немедленных прямых действий. Но как можно терпеть в своей стране форпост большевизма, не разрушив его до основания*: как можно убаюкивать общественное мнение и дезориентировать его какими-то туманными надеждами на "сотрудничество" советов – этого я не понимаю. Даже папский орган "Обсерваторэ Романо", столь горячо осуждающий зверства германские, не опечален вовсе судьбою новых 15-ти миллионов, попавших в лапы ГПУ, а вооруженный поход на Европу коммунизма рассматривает как движение "русского империализма" и "панславизма"... Сталин и... панславизм. Это – не глупость, о нет, это сознательная фальшь.

Храни Вас Бог. Сердечный привет.

Любящий Вас

А. Деникин

9.10.39
Монтэй

Дорогой Петр Владимирович,

Ваше письмо от 6-го получил вчера 8-го, первый раз столь быстро. Сообщение о польских связях весьма интересно. Дайте им непременно и брошюру мою на польском языке. Я бы послал ее Вам, но у меня здесь только один экземпляр, который может понадобиться. Вероятно, у

---

* На полях: "события скачут: сегодня прочел о ликвидации фр. коммун. партии..."

Ч.* найдется, а если нет, он укажет, где можно найти. Дело в том, что в польском издании есть некоторые детали, интересные полякам и не вошедшие в русский текст.

Мой взгляд на русско-польские отношения в прошлом Вам хорошо известен, в нынешнем – его узнаете из "записки". Кстати: я предупредил М. М.**, что записка не подлежит распространению, а предназначена только для четырех лиц – г.г. Даладье, Гамлену, Чемберлену и Черчиллю. При свидании с М. М. подтвердите ему деликатно конфиденциальный характер "записки".

Со стороны польской до сих пор появились два официальных заявления: президента ("пилсудчика"), который, говоря о прошлом, позволил себе упомянуть о "восточных варварах"... И послание к польскому народу ген. Сикорского, совершенно игнорирующее президента, составленное в несколько неопределенных, но, в общем, в примирительных тонах. У них, по-видимому, назревает внутренний переворот. На пост президента выдвигается старик Падеревский, находившийся всегда в оппозиции к "пилсудской" политике, но, к сожалению, человек очень пожилой и больной.

Храни Вас Бог, дорогой мой.

Любящий Вас

А. Деникин

---

* Вероятно, Н. Н. Чебышев.

** М. М. Федоров.

11.10.39
Монтэй

Дорогой Петр Владимирович,

На всякий случай повторяю Вам вкратце историю с моей Запиской.

3-го окт. я послал Записку и препроводительные письма М. М-чу*, прося его заняться переводом этих документов на французский и английский языки. Считая дело это весьма спешным, я приложил четыре подписанных бланка, чтобы можно было отправить адресатам, не теряя времени на вторичное сношение со мной. В письме М. М. я сообщил, что перевод должен быть совершенно точным по смыслу; а предчувствуя то, что случилось, просил М. М., если почему-либо исполнение моего поручения его затруднит, передать немедля всю переписку для исполнения Вам.

Вместо исполнения я получил от М. М. письмо, в котором он, очевидно, в связи со своим неудачным выступлением по польскому вопросу, убеждает меня изъять из Записки II-ю (польскую) главу... Доводы его совершенно недоказательны. М. М. не хочет понять, что именно сейчас даются державами известные обязательства, будучи опубликованы соответствующие декларации и т. д. Поэтому сейчас необходимо поставить все точки над "i". Словом, я ответил ему телеграммой, что никакое изменение Записки невозможно, а, если

---

* М. М. Федоров.

этот вопрос его затрудняет, чтобы он передал всю переписку Вам.

Принимая во внимание новые польские настроения, о которых Вы писали мне после разговора с польским генералом, я вношу только в Записку некоторые нюансы, которые для исправления текста, прилагаю на отдельном листе. Эти исправления уже внесены (и отмечены красным карандашом) в том экземпляре Записки, который я, на всякий случай, посылаю Вам при сем*. Напоминаю, что документы эти распространению не подлежат, будучи предназначены только четырем лицам.

В данный момент я не знаю - будет ли М. М., невзирая на расхождение со мной во взглядах, заниматься Запиской или нет. Если все же будет, то надо иметь в виду, что М. М. старик хороший, но весьма своенравный. И потому необходимо принять меры, не обижая его, чтобы иметь уверенность, что перевод действительно соответствует вполне моему изложению. В этом случае вручите ему и лист с исправлениями.

Если же М. М. передаст Вам, то прошу Вас заняться спешно этим делом. Я понимаю, какую новую и большую работу я возлагаю на Ваши плечи, но... дело русское, важное и спешное. Относительно переводов Вы, может быть, посоветуетесь с Род.**, как я уже писал Вам (но

---

* "Записки" генерала Деникина нам обнаружить не удалось, возможно, копия ее хранится в Колумбийском университете.

** Установить не удалось.

не знакомя его с текстом), или с Ниной Николаевной Гронской (адрес: 6, rue Antoine Bourdelle). Она человек наших взглядов и имеет знакомства в литературных кругах. У М. М. Вам необходимо будет познакомиться и с письмом моим к нему, так как в нем изложены технические детали относительно перевода и пересылки. Возьмете у него, следовательно: Записку и препровод. письма (все в двух экземплярах) и четыре моих бланка. В текст Записки внесете мои исправления.

О том, какое направление приняло дело, будьте добры телеграфировать.

Сердечный привет.

Любящий Вас

А. Деникин

24.10.39

Дорогой Петр Владимирович,

Сегодня получил телеграмму. Вчера – Ваше письмо от 20-го. Вчера же отправил Вам открытку – относительно некролога Н. Д.*. Но, опасаясь, что Вы послание мое Союзу Добровольцев примете за некролог для печати, – сегодня телеграфирую Вам о посылке сего письма, с приложенным к нему подлинным некрологом.

---

* Ген.-лейт. Н. Д. Неводовский трагически погиб в Кенси под Парижем, раздавленный грузовиком. 1878 г. рождения, георгиевский кав., окончил вел. войну ген.-майором. Участник Дроздовского похода. В эмиграции – основатель и председатель Союза Добровольцев.

Тенденции "Посл./едних/ Нов./остей/" стали ныне хуже еще "Возр./ождения/". Поэтому ни в коем случае в одних "Посл. Нов." *моей* статьи печатать нельзя. Или – в обеих газетах или, если "Возр." откажется, поместить тогда в "Иллюст./рированной/ Рос./сии/" (если она еще существует).

Требование на пропуск в район Парижа нами сделано. Ожидаем на днях ответа. Если с автомобилем дело не выйдет (кстати, справились ли о возвращении Лебедева), то из Монтэй возьмем автомобиль и доедем на нем до такой железнодорожной станции, откуда поезда идут в Париж без пересадки.

Вызовите нас к телефону. Наиболее верное время между 12 и 2 часами или же после 7-ми час. веч., если вечером провинциальный телефон можно вызывать.

Письмо Ваше с обстоятельствами смерти Н. Д. нас ошеломило. Какой возмутительный, нелепый случай!.. И как бесконечно жаль покойного...

Привет.

Любящий Вас

А. Деникин

12.9.40

Дорогой Петр Владимирович,

Моя корреспонденция никак не налаживается. Происходит ли это от общих условий расстройства транспорта или от особенных условий цензурных, не знаю. Это письмо посылаю с оказией.

При создавшихся политических и иных условиях нет никакого резона переезжать ни в Париж, ни в не-оккупированную зону. Останемся до изменения обстановки зимовать здесь.

Среди всех событий, потрясающих мир, для меня, как, конечно, и для всех вас, самое важное и самое волнующее – влияние их на разрешение Русского Вопроса... Сейчас мир находится еще в стадии разрушения. Ни победители, ни побежденные пока еще не могут определить ни его размеров, ни его результатов – политических, социальных, территориальных. Процесс далеко еще не завершен, и потому воздержусь от прогнозов. Одно несомненно, что в конечном итоге текущей мировой катастрофы будет разрешен и Русский Вопрос. С большей или меньшей кровью, с большими или меньшими жертвами, но будет. Правда, советское правительство как будто укрепилось извне: оно заключило могущественный союз, но... в наше время – безмерного государственного эгоизма – обещания и клятвы даются и не выполняются, союзы заключаются и порываются под любым предлогом. Советское правительство бескровно овладело большой территорией, но... то, что для Национальной России было бы восстановлением ее достояния и освобождением ее земель от иноземных угнетателей, то для интернациональных советов является лишь расширением коммунизма и объектом нового угнетения. Во всяком случае, никакие внешние успехи советской власти не в состоянии примирить ее с народом и "расчет" произойдет под давлением внешних и внутренних событий бурно и скоро.

Чрезвычайно сложна международная обстановка, чрезвычайно сложно и положение русской эмиграции. Тем более нам необходимы выдержка, осторожность и сохранение достоинства – в противоположность некоторым французским рептилиям (в прессе и в правлении), которые низкопоклонничают перед победителями, несомненно вызывая в самих немцах не доверие, а презрение.

Мировая катастрофа не нарушила основных положений нашего символа веры. Они остаются неизменными. Ко всем событиям, людям, борющимся станам мы должны относиться только с точки зрения интересов Национальной России. В данное же время одни дружат с советами, укрепляя советскую власть, и ничем не определили своего отношения в будущем к Национальной России; другие свой разгром перекладывают с больной головы на здоровую, придумывая всякие скорпионы в отношении иностранцев, даже тех, которым предоставлено было право умирать за оказанное им гостеприимство; третьим теперь не до России... И потому – никаких "фильств", кроме русофильства, никаких ориентаций, кроме российской, никаких обязательств за... чечевичную похлебку и... с потерей лица.

Я знаю, как тяжело положение многих из моих соратников и всей душой им сочувствую. Знаю, что "сохранение лица" дело нелегкое. Но глубоко верю, что, претерпев так много, мы преодолеем и настоящее лихолетье, без сомнения уже последнее.

Вот ряд мыслей, с которыми прошу Вас ознакомить наших друзей.

Шлю всем вам сердечный привет.

Жду возможно подробных сведений об их судьбе.

А. Деникин

Дек. 1940, № 401
(рукой П. В. Колтышева)

Дорогой Петр Владимирович,

Весьма Вам благодарен за обстоятельное освещение текущих событий. Оно убеждает меня в том, что если бы даже личные обстоятельства допускали, то присутствие мое в Париже бесцельно.

А личные обстоятельства вовсе не соответствуют тому впечатлению, которое Вы вынесли, судя по последнему Вашему письму, что у нас "все благополучно". Потому, вероятно, что я не люблю жаловаться на судьбу, в особенности теперь, когда всем так тяжко, а Мариша* не достаточно осветила обстановку. Дело в том, что здоровье жены все ухудшается, и последние два месяца она почти не встает с постели. Прибавьте к этому горю чрезвычайно осложненную повседневную жизненную обстановку и

---

* Речь идет о дочери генерала Деникина, Марине Антоновне.

наше одиночество. К тому же профес.* не то приостанавливает, не то прекращает посылки. Вы понимаете, что это для нас значит... Будьте добры сходить к нему и поговорить.

В остальном – без перемены.

Удручает та "перековка", которою занялась русская эмиграция в Париже.

Искренне огорчают меня злоключения Ваши и наших друзей, которым шлю сердечный привет.

А. Деникин

9.6.41

Дорогой Петр Владимирович,

Последнее письмо Ваше от 21-го мая получил в свое время. С тех пор не знаю – что у Вас делается – нашли ли работу, не беспокоят ли Вас любезные гости. Казалось бы, все – и взаимоотношения и миросозерцание, и политические взгляды настолько просты, ясны и, главное, открыты, что кривотолки могут возникнуть лишь нарочито. "Русофильство" – паки и паки, и только оно одно.

Жизненный уровень наш все понижается понемножку, так же, как и у всех. Никаких перспектив улучшения не видно; предстоящая зима будет исключительно суровой во всех отношениях. Тем временем еще 2 фунтика сбавил в

---

* Вероятно, проф. Бернацкий, устроивший для генерала Деникина небольшое пособие; бывший член Особого Совещания при ген. Деникине во время гражданской войны.

весе. Ничего не поделаешь, все это – непредотвратимо. Обидно только, что хозяйственная возня отнимает слишком много времени и не дает возможности заниматься писанием. А сказать еще многое нужно, чтобы на исходе со спокойной совестью сказать "ныне отпущаеше..." Впрочем, так как, по счастью, кроме естественной усталости, никаких органических дефектов нет, питаю надежду поработать еще для России не только пером.

Сердечный привет Вам и нашим друзьям.

А. Деникин

30.7.41

Дорогой Петр Владимирович,

Оба Ваши письма, а также от О. Г.* получил.

Вы нарисовали весьма любопытную картину Вашего пленения**, в которой, прежде всего, бросается в глаза удивительное смешение языков: "и эллин, и иудей", и про-большевики, и белые всех оттенков, и германофилы, и даже безобиднейший отец Зосима!.. Рад, что и это злоключение Вы перенесли бодро и с достоин-

---

* Установить не удалось.

** Вскоре после возникновения советско-германской войны полковник П. В. Колтышев был арестован гестапо в Париже, допрошен и заключен на два месяца в лагерь в Компьени, где находились многие арестованные оккупационными властями русские эмигранты.

ством, в чем, впрочем, я никогда не сомневался.

Я также думаю, что обстановка освобождения вызвана причинами более сложными, но не понимаю мотивов Вашего оптимистического прогноза. Кстати, поведение Вашего нового знакомого кажется мне странным.

Однако ужасно за Вас и за тех наших друзей, которых судьба заставила жить на "шомаже". Не могу себе и представить, как при нынешних трудностях и ценах вы сводите концы с концами. И не видать еще, когда кривая наших судеб начнет подыматься. Но что подымется, в этом нет сомнения.

Мы живем по-прежнему; после возвращения жены пока не испытываем новых сюрпризов. Но сама жизнь становится сложнее и труднее. Облегчают ее – добрые отношения к нам аборигенов; тревожит – полная неопределенность бюджета.

Мариша должна была приехать к нам в середине июля. Но слегла и до сих пор не выходит из дому. Приезд отложен до сентября.

Хотя письма Ваши очень обстоятельны, но за этот год накопилось столько животрепещущих вопросов, столько новых интересных положений, что, когда придется встретиться вновь, будет о чем поговорить!

От души желаю, чтобы злосчастный "шомаж" не подорвал Вашего здоровья и бодрости. Сердечный привет Вам и нашим друзьям.

А. Деникин

12.7.41

Дорогой Петр Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и с освобождением, и с днем Ангела. Пожелания известны.

Вашу открытку получил через 11 дней. Тотчас же ответил, но вернули ввиду того, что была она неустановленного образца. Впрочем, это уже не имело значения, так как в тот же день пришла Ваша телеграмма. О Вашем отъезде я знал раньше от Мариши.

"Мера предосторожности" против русских эмигрантов, очевидно, не была общей, а применялась по усмотрению локальных властей. Так, в Париже, по-видимому, забирали персонально; в соседнем с нами районе (бордоском) - всех мужчин, в нашем - мужчин и женщин до 50 летн./его/ возраста. Таким путем отведала тюрьмы моя больная жена, в моральном отношении перенесшая свои злоключения весьма бодро.

Живем мы по-прежнему, только с каждым днем похуже становится и потруднее. Неукоснительно теряем в весе. Ко всем моим мытарствам прибавилось стояние в очередях... Но все это пустяки, когда "миры трясутся"...

Такова наша маленькая жизнь. О больших проблемах не пишу. Не время.

Жду вестей о Ваших злоключениях и о жизни наших друзей.

Храни Вас Бог. Сердечный привет.

А. Деникин

18.8.41

Дорогой Петр Владимирович,

Получили ли мое последнее письмо – даты не помню, но было оно ответом на описание Вашей Одиссеи?

Жизнь наша течет без перемен, без новых утеснений, только становится все труднее (как и у всех, впрочем), и изнашиваемся быстрее. Ко всему прочему присоединяется шаткость "финансового базиса" (громко – не правда ли? – для нашего грошевого бюджета). Сейчас еще не знаем – продержится ли он дальше?

Что касается внешних событий, то в глуши и одиночестве воспринимаются они много острее... Но долгий жизненный опыт приучил меня смотреть поверх текущих событий в будущее. И в нем находить предзнаменования утешительные. Вы помните мою теорию исторического бумеранга?

Как обстоит вопрос о заключенных эмигрантах? В частности, освобождены ли Фурунда* и Савич?**

Давно уже просил Ник. Ник.*** прислать мне для прочтения 2 книги из его библиотеки. При случае, пожалуйста, напомните.

Получил длинное письмо от Валент/ина/ Алекс/андровича/ с описанием его мытарств в

---

* Установить не удалось.

** Вероятно, Иван Яковлевич Савич, находившийся в заключении в лагере в Компьени. Член нелегального тогда во Франции "представительства НТС".

*** Ген. Н. Н. Стогов.

связи со случайной эвакуацией и фамилией его, звучащей не современно. Теперь он благополучен и работает на севере Франции.

Петр Конст/антинович/*, судя по его письмам, весьма устал и морально придавлен, но не голодает.

От души желаю Вам душевной бодрости и возможного в тех условиях, в которые Вы попали, телесного здравия.

Сердечный привет Вам и нашим друзьям.

А. Деникин

22.11.41

Многоуважаемый Пётр Константинович**,

Искренне благодарю Вас за доброе слово ко дню дорогой нашему сердцу годовщины основания Добровольческой армии.

В эти тяжкие и темные дни наше прошлое да послужит утешением, путеводным маяком и залогом надежды.

Привет Вам и нашим соратникам.

Уважающий Вас

А. Деникин

---

* Ген. П. К. Писарев. Негласный председатель Союза Добровольцев после смерти ген. Неведовского.

** Ген. П. К. Писарев.

КОПИЯ*

(Согласно П. В. Колтышеву:
по-видимому, январь-февраль 1942 г.)

Многоуважаемый Петр Константинович,

Сердечно благодарю Вас и моих соратников за память и пожелания.

Судьба разбросала нас вновь, и в день годовщины Первых походов в этом году соберется семья наша еще более поределою... Новые испытания придавили многих; новая чрезвычайно сложная политическая обстановка смутила многих. Но те, кто через годы кровавой гражданской войны, через беспросветную полосу эмигрантской жизни пронесли чистой и неискаженной идею Родины, те не могут, не должны терять веру в ее возрождение. Тем более теперь, когда мировой катаклизм в конечном счете разрешит несомненно и Русский Вопрос.

Не могут, не должны ни падать духом, ни менять вехи.

Символы этой нашей "русской веры" хорошо нам известны. Я напомню только об одном в нашей, временами трагической, обстановке самом важном...

---

* На этом официальном, хотя и "нелегальном" (без подписи для добровольцев) письме председателю Союза Добровольцев генералу П. К. Писареву, приписка рукой генерала Деникина: "Дорогой Петр Владимирович, на всякий случай посылаю Вам копию ... От души желаю Вам просвета. Храни Вас Бог. Друзьям - искренний привет. А. Д.".

Когда-то в "драгомировской памятке" понятие о дисциплине разъяснялось солдату такой упрощенной формулой:

– Что прикажет начальство – делай, а против Государя – не делай!

В применении к современной действительности и нашему национальному самосознанию, эту формулу я изложил бы так:

– Что заставит неволя – делай, а против России – не делай!

Если и придется жить не там, где хочешь, если придется работать не так, как хочешь, то, во всяком случае, никакие силы, никакое критическое положение не могут побудить работать ПРОТИВ РОССИИ.

Болею душою за ваши злоключения, желаю просвета и шлю всем вам сердечный мой привет.

29.8.42

Дорогой Петр Владимирович,

Недели три уже не получаю вестей от Вас и вообще корреспонденции из Парижа. Не знаю – случайность это (бывают иногда периоды надобного "затишья") или шалости цензуры. Не знаю – получил ли мое письмо Н. Н.* и газетные вырезки. То же самое в отношении Тал.**, от которого давно уж ответа нет.

Волнующее впечатление производит кавказская операция немцев – по тем же направлениям,

---

* Ген. Стогов.

** Установить не удалось.

как и наша операция 1918 г. Мелькают названия, столь памятные по переживаниям, когда Добр. Армия шаг за шагом действительно освобождала русский народ. И вновь, и вновь встает мучительный и неизбывный вопрос: разве возможны были бы кровь и разорение четверть века, кровь и разорение нынешней "истребительной" войны, если бы тогда понял это народ, поняли силы, бывшие в нетях или противодействовавшие Добровольческой Армии?..

Итак, дело только в затяжку, быть может, и большую. Пока же в ожидании исхода стараемся хоть как-нибудь наладить нашу маленькую жизнь, ставшую, благодаря совокупности всех бед и зол, донельзя примитивной. Сейчас бьемся с квартирными вопросами. Все маломальски сносные квартиры заняты оккупантами. Пока что нашли только одну свободную - форменная лачуга, в каких еще живать не приходилось. Боюсь, что на ней придется остановиться. В остальном - без перемен.

Напишите, как подвигается Ваше лечение. В этом направлении сделано еще очень мало, хотя Вы и обещали.

Сердечный привет Вам, мой дорогой, и нашим друзьям.

А. Д.

15.11.43

Дорогой Петр Владимирович,

На днях я послал Вам перевод и завуалированное приглашение приехать к нам. Считаю этот вопрос исчерпанным и распространяться не буду. Ждем.

Интересно, по каким причинам годовщину Добр. Ар. нельзя было отметить официально?

Перед нами проходит целая галерея типов быв. подсоветских людей – от темного и безграмотного казака до "профессора". С самым разнообразным мировоззрением в отношении двух станов, большевизма и национального самосознания. Попадаются и участники Белой Борьбы. Интересно*.

О житье нашем писать не буду, ибо, во-первых, Вы знаете о нем от Мар/иши/, а, во-вторых, – скоро увидимся. И тогда наговоримся всласть.

Если увидите Н. Н.**, то захватите у него материалы, касающиеся соврем. жизни бывшего РОВСа – для ознакомления.

До свидания.

А. Д.

Друзьям привет.

18.4.44

Дорогой Петр Владимирович,

Спасибо сердечное за поздравление. Желаю и

---

* В Мимизан, на "Атлантический вал" в это время прибыл с восточного фронта "Остбатальон", в котором служили советские военнопленные, пошедшие в немецкий вермахт. Многие его солдаты, как свидетельствует супруга генерала, Ксения Васильевна, посещали генерала Деникина. См. также Marina Grey. Mon pere le general Denikine, Paris 1985, cc. 340-380.

** Ген. Стогов.

Вам благополучия в личной жизни и общего просвета.

Воистину Воскресе!

Огорчен, что в материальном отношении работа Вас не устраивает. Но, имея некоторую обеспеченную базу, легче подыскивать что-нибудь более подходящее.

Огорчен также состоянием здоровья А. А.* Надеюсь, что друзья дадут ему возможность подлечиться.

События идут планомерно, непредотвратимо, и только грандиозная ложь и блефы затемняют контуры ближайшего будущего. В частности, нашего русского. Сколько еще времени, сколько крови, какие потрясения постигнут мир – неведомо. Но исторические судьбы России предначертаны ясно и хотелось бы страстно дожить, увидеть. Такие же мечты проглядывают во всех письмах, пожеланиях близких мне стариков. Словом, не желаем "уходить", пока не свершится – "ныне отпущаеши"...

От великого – к маленькому. Дни нашей жизни проходят, как всегда тоскливо, однообразно. Подхварываем, подлечиваемся. Праздники мало чувствовались. Не было надлежащей подготовки: не постились, не молились – за четыре года всего один раз в церкви побывал... Впрочем, хотя /если/ "великого поста" еще до сих пор не испытывали, то "малый пост" прочно вошел в наш обиход. Великий праздник был отмечен крашенными яйцами, куличем от

---

* Аркадий Александрович Иванов – соратник ген. Деникина по гражданской войне.

доброжелателей и слушанием по радио заутрени. К сожалению, пластинка Радио-Пари искажала и голоса и мотивы.

Сердечный привет Вам и нашим друзьям.

Любящий Вас

А. Деникин

4 сент. 44

Дорогой Петр Владимирович,

Итак, мы свободны. Свободны от того чувства настороженности, которое вызывали некоторые признаки заинтересованности нами оккупантов, от необходимости прятать свои писания, от взвешивания каждого слова в переписке с друзьями, чтобы не подвергать их неприятностям, и т. д.

В последние дни мы были свидетелями великого крушения немцев. Взрывали, жгли, уничтожали огромные запасы снарядов, снаряжения, обмундирования, а, главное, продовольствия, награбленного во Франции. Увезти было не на чем, хотя ограбили у местного населения все средства передвижения, включая и велосипеды. Но надо отдать справедливость – кроме этого ограбления, никаких других насилий над местными жителями немцы у нас не чинили.

Я чувствую себя хорошо, но жена никак поправиться не может.

Начинается пятый акт мировой трагедии. По-видимому, и русский вопрос вступает в новую стадию... Кроме того, положение эмиграции сильно скомпрометировано всеми этими прохвостами. Предстоит большая работа по расчистке национального самосознания в русской среде и

установлению правильного взгляда на русский вопрос извне. Кой-какая подготовительная работа мною уже сделана.

Словом, пора ехать в Париж. Одновременно я прошу Чижова*, как незанятого службой, подыскать нам квартирку. Надеемся, что все вы живы и здоровы. Ожидаю ворох чрезвычайно интересных новостей от Вас и парижских друзей. Сердечный привет.

Люб. Вас

А. Деникин

22 окт. 44

Дорогой Петр Владимирович,

Пользуюсь оказией – обещают переслать письмо ускоренно в Париж. На днях писал Вам. На всякий случай повторяю приглашение: приезжайте к нам недельки на две – обогреться и отвести душу. Поговорить есть о чем. Титов** отпустит без сомнения. В открытке писал еще Вам, что одобряю вполне линию, взятую Вами. Теперь более, чем когда-либо, необходимо "воздержание" от резких уклонов в противоположную сторону, от отступления от двуединого стимула. Кстати, нежелательно официальное общение с б. РОВС; в частности, необхо-

---

* Капитан Б. Н. Чижов, доброволец, соратник ген. Деникина.

** П. В. Колтышев работал на предприятии Титова – инженера-химика, в прошлом близкого к "Национальному Центру".

димо отмежеваться, если, возможно, когда будет празднование 15 ноября.

Около 1 нб. едет в Париж грузовик местной фабрики и в первых числах возвращается обратно. Было бы очень хорошо - Вам воспользоваться этим случаем. Мы предпримем соответственные шаги здесь, а Мариша может навести справки в Париже у представителя фабрики, адрес которого ей сообщен.

Наше благополучие в отношении немецкой опасности, по-видимому, не окончательное. Похоже на то, что немецкие гарнизоны, занимающие побережье между устьями Луары и Жиронды, в свое время постараются пройти в Испанию*. Интернирование будет им приятнее, чем плен... Таким образом, еще раз, на короткое время можем попасть в немецкую оккупацию. Ну, страшен черт, да милостив Бог!

Просил Лат/кина/ прислать мне карты предстоящей инвазии Германии: "Амстердам", "Париж", "Берлин" и "Вена".

Сердечный привет Вам и нашим друзьям.

Любящий Вас

А. Деникин

19.12.1944

Дорогой Петр Владимирович,

На прошлой неделе послал Вам Ваши карты (3) и все Ваши записки. Получили ли?

---

* Немецкие гарнизоны оставались на месте вплоть до общей капитуляции Германии в 1945. - Прим. ред.

16 дек. получил Ваше письмо в двух конвертах, на 10 страницах. Один конверт оказался почти незаклеенным, и приложения (копии) в нем не оказалось. Какой-нибудь негодяй похитил в дороге. Кстати, неизвестно ли – кто из русских служит в цензуре? Вероятно, есть там и перекрасившиеся гестаповцы...

Вторую коробку лекарств получил. Благодарю Вас. Если платили Вы, сколько я должен?

"Старательный" пропагандист из Бордо, действительно, не монах, а священник, и зовут его Олимп Пальмин.

Попечительное французское начальство, не признав за мной профессии писателя, взяло с нас, при перемене паспортов, 1.170 фр. В остальном – перемен нет.

Приведенные в Вашем письме сведения, хотя и не были неожиданными, но сильно меня огорчили. Картина получается нерадостная. На поклон к немцам шли прохвосты, мракобесы и часть сбитой ими с толку аморфной эмигрантской массы. Теперь на поклон к большевикам валом валят те же прохвосты, перекрасившиеся мракобесы и, к сожалению, подлинная русская интеллигенция – мягкотелая, все позабывшая и ничему не научившаяся, увлекая за собою "малых сих".

Быть может, среди этих бьющих челом есть люди увлекающиеся и заблуждающиеся, уверовавшие искренне в возможность "счастливой жизни" под крылом НКВД... Это их дело. Но большинство глашатаев новой "правды" не верит ничуть ни в благостность "отца народов", ни в перерождение большевицкого интернационализма в российский национализм, ни в действительность "свобод", начертанных в

советской конституции, ни в свою личную безопасность под ее сенью... И под сень эту они не пойдут. Но афишированием своей лояльности в отношении советской власти они рассчитывают обеспечить себе з д е с ь безопасность и "неприкосновенность" на случай возможных "осложнений", вытекающих из новых франко-советских отношений. И за эту "чечевичную похлебку" они платят отказом от осуждения и даже оправданием зла.

Я уверен, однако, что в своих надеждах они жестоко просчитаются.

Неверующие интеллигенты, для подкрепления своей новой позиции, оказали моральное давление на митрополита, и он совершил непоправимую ошибку. Признание власти московской патриархии или даже подчинение ей на известных условиях, устраняющих вмешательство большевицкого аппарата, - это статья особая. Хотя и в этом вопросе, ввиду его исключительной важности, было бы правильнее применить соборное начало и путем анкеты или съездов опереться на мнение приходов... Но не было решительно никаких обстоятельств, вынуждающих челобитье по отношению к большевицкой власти и этим - косвенное ее признание.

Воображаю, с каким злорадством устраивало посольство инсценировку митрополичьего визита. Ибо все происшедшее - чистейшая инсценировка: "радостная встреча", "женщина, подошедшая под благословение" и эпизод с американским посланником. И эмиграции лестно, и перед американцем продемонстрирована толерантность большевицкой власти в отношении "служителя культа"...

Отвратна роль Р.* – этого долголетнего сотрудника пораженческого, про-гитлеровского, реакционного органа, а ныне делающего карьеру на совращении "евлогианской церкви". Ясно, что он является "сексотом" НКВД, осведомляя свое новое начальство о жизни и настроениях церковных кругов. Таких прохвостов расплодится сейчас немало среди эмигрантской общественности. Их надо беречься.

Только что освободились от опеки гестаповцев, как явилась новая напасть!

Меняются времена, меняются люди. А наше слово – все едино: пошли, Господи, полную победу российским армиям и дай свободу российским народам.

Сердечный привет Вам и нашим друзьям.

Любящий Вас

А. Деникин

25.2.45

Дорогой Петр Владимирович,

Спасибо за поздравление ко дню Первых походов. Я послал вчера письмо П. К.**, но он, вероятно, теперь в Париже?

Несколько слов по вопросам, затронутым Вами в письме от 12-2, вызвавшем некоторое недоумение. "Оптимизм" Ваш я усматриваю вовсе не в общей оценке положения Германии, которая уже разбита, и окончательное пора-

---

* Не установлено.

** Ген. П. К. Писарев.

жение ее не за горами, а в переоценке возможностей союзников, которые (и с запада и с востока) могли бы, по Вашим словам, давно покончить с врагом, если бы захотели... Нет, никакие политические причины не вызывали длительные периоды затишья, а лишь мотивы стратегические.

Англо-американцы, сделав блестящий пробег из Нормандии к Рейну, принуждены были задержаться там, потому что встретили весьма упорное сопротивление на годами подготовлявшейся линии прирейнской обороны; потому что крайне затруднено было их снабжение - первоначально из одной Шербургской базы; да и боевой коэффициент их уступает немецкому и, конечно, российскому.

Российские армии сделали гигантские прыжки - от Минска до Варшавы и потом от Варшавы до Франкфурта; сделали все, что было в человеческих возможностях, и потому длительные остановки на Одере и раньше на Висле естественны и не требуют особых пояснений.

Зависимость судеб войны от успехов российского оружия настолько велика, что союзники не могут и помышлять о препятствовании России в ее *законных* и *исторически обоснованных* требованиях. А такие, например, вопросы, как о русско-польских границах, *предрешены* были давно. Скорейшее подавление Германии - одинаково в интересах и восточных, и западных ее противников. И потому не было та- ких политических причин, которые требовали бы искусственной затяжки войны.

Но не это - главное, а разные мерки в оценках одних и других. Говоря о предполагаемых "кознях" англичан, Вы не упоминаете о

том, что замышляют другие, и не только в отношении Англии, но и всего "старого мира"... Указывая на положительную сторону "славянского объединения", Вы не считаетесь с тем, какими быстрыми шагами ведут эти страны извне к внутренним потрясениям...

Вот эта опасность теперь самоочевидна. И перед ней насторожился мир. Не будь ее, никакие границы и сферы влияния не стояли бы, при создавшейся военной конъюнктуре и соотношении сил, поперек российских интересов.

На этом закончим разговор сей до личной беседы.

У нас - без перемен.

Сердечный привет.

Любящий Вас

А. Деникин

О получении письма уведомите.

(21.III.45 - по-видимому - согласно П. В. Колтышеву)

Давно от Вас нет вестей.

Последнее письмо Ваше от 22.2. рисует парижскую "атмосферу" весьма нездоровой. Я совершенно уверен, что люди, "купающиеся" в ней, просчитаются - скоро и жестоко. Не умели сохранить ни достоинства, ни "лица". Воображаю, как надсмеиваются над ними и как еще посмеются "господа положения".

У нас без перемен и без потрясений. Дни текут уныло и однообразно.

Сердечный привет Вам и нашим друзьям. Любящий Вас

А. Деникин

Сообщите о получении.

14.1.45

Дорогой Петр Владимирович!

Сердечно благодарю Вас за память и добрые пожелания. Желаем и Вам в Новом году возможного благополучия, здоровья и бодрости духовной.

Вы, действительно, оптимист. Только непонятно – откуда Вы взяли, что "если бы было желание, то были бы уже добиты"?.. Я уверен, что желание есть у всех противников немцев, но пока еще возможности нет...

Так и не знаю, получили ли Вы мое письмо, посланное 19 дек. с оказией в адрес Мариши. От Вас – последнее письмо – от 28 дек. Письма странствуют очень долго, приходят со следами вскрытия, а одно – из района Шартра – путешествовало 22 дня и имело штемпель цензуры – неизвестно какой власти...

Парижские большевицкие газеты занялись канонизацией "отца народов" с умопомрачительной пошлостью. Читали ли Вы в "Нувель совьетик" – как "величайший полководец мира" громил всегда и всех, в том числе Деникина и Юденича? Об этом поведала рептилия – "генерал-лейтенант Шиловский"... А мы-то никогда и не сталкивались с ним, и не слышали, чтобы он был тогда на каких-либо командных должностях. Или "местоблюститель", ко-

торый в усердии своем дошел до того, что назвал Сталина - "Богом Данный" ("Рус. Патр.")...

Епископ Иоанн мне пишет, между прочим:

"Митр. Е/влогий/ озабочен вопросом о сношении с Константинополем и Москвою. Как будто найден путь, благодаря любезности Богомолова".

"Я глубоко огорчен сменовеховскими течениями в русской эмиграции и, в частности, поездкой на поклон м./итрополита/ Е/влогия/ к людям, которые над ним в душе посмеялись, и используют поездку эту, как пропагандный фильм. Я глубоко возмущен кощунством местоблюстителя, который сотворил себе кумир и нарек его именем "Богом Данный".

"Были среди нашего безвременья устои церковно-общественной жизни, чуждые правого мракобесия и левого идолопоклонства, и те пошатнулись. К великому соблазну малых сил".

Мне пишут, что присяжный поверенный Герман объединил интеллигенцию под названием "Русские патриоты", причем Герман заявил, что в Париже существует такое же объединение, возглавляемое Вами, адм. Кедровым и Маклаковым..."

Так как это ложный слух повторяется не первый раз, очень прошу Вас, при всяком удобном случае, отмежевывать меня резко от всяких "активных групп".

Премного Вам благодарны за присланный сахар. Однако не можем допустить, чтобы Вы лишали себя своей порции. Просим, если возможно, купить и прислать; стоимость тотчас же вернем. Иначе - не согласны.

Пригласил Стогова погостить у нас, ответа пока нет.

Это письмо идет с оказией – с грузовиком, едущим в Париж, и очень скоро возвращающимся обратно. Справьтесь у Мариши. С ними же можете переслать мне очередное письмо.

Сердечный привет Вам и нашим друзьям, которые не пошли в Каноссу.

Любящий Вас

А. Деникин

Приписка на полях к письму от 14.1.45

Нельзя ли получить справку: 1) о судьбе батальонов РОА вообще; 2) много ли осталось во Франции; 3) все ли оставшиеся отправлены в советские лагеря, или англичане и американцы взятых ими в плен держат у себя в качестве рабочей силы; есть ли "свободные", не вернувшиеся к советам, например, "ашерские"?

10.12.1945
Наш адрес: M. Denikin
109-15 Queens Bl-rd. 1F.
Forest Hills New York U.S.A.

Дорогой Петр Владимирович,

По всем "заграницам" проехали с большими удобствами и встречая всюду внимание и содействие. Также приветливо встретил нас русский Нью-Йорк. Вижусь со многими и постепенно вхожу в курс американской и рус-

ско-американской жизни. Последняя сильно разнится от нашей "французской". Но об этом - потом.

Поражает ширь, размах, масштабы и жизнь вообще, а города, в частности.

Как и следовало ожидать, "русский вопрос" стоит здесь правильнее, чем у вас; церковное объединение пошло в затяжку, а сменовеховство ничтожно.

Сердечный привет Вам и нашим друзьям.

Любящий Вас

А. Деникин

(согласно П. В. Колтышеву - май 1946 г.)

Дорогой Петр Владимирович,

С душевным волнением прочел Ваше письмо, полученное в конце апреля. Оно всколыхнуло воспоминания о многих годах нашей совместной жизни и работы, о той близости, которую забыть нельзя.

Но вся постановка Вами вопроса о наших взаимоотношениях неправильна. Зачем доказывать и, как будто, противополагать чему-то истины неопровержимые и во мне никогда никаких сомнений не вызывавшие. Ваша бескорыстная и самоотверженная работа на пользу русского дела вообще, Ваша привязанность к Добровольчеству, Ваше постоянное и ценное сотрудничество в моей общественной работе, Ваша заботливость в области нашей частной жизни - все это находило всегда, находит и теперь во мне признание и признательность. Но самое важное, что нас связывало, это единомыслие в

исповедании Белой идеи, в непримиримом отношении к большевизму, в понимании задач эмиграции.

В этом единомыслии образовалась брешь. Вы сами прекрасно знаете – когда и в чем именно. Знаете из нашей переписки, из разговоров в Мимизане и в Париже, из моих речей, обращения к эмиграции и проч. Но раз Вы желаете объяснения, приходится повторить, в чем сущность нашего расхождения.

Началось это еще в 1944 году.

После блестящих побед Красной армии у многих людей появилась аберрация, которой не избегли и Вы. В Вашем восприятии как-то поблекла, отошла на задний план – та сторона большевицкого нашествия и оккупации соседних государств, которая принесла им разорение, террор, большевизацию и порабощение. Вы видели в событиях сначала стратегическую планомерность, потом "выполнение исторических задач" России. Сколько раз в Париже – в наших разговорах, когда я подымал вопрос о преступной советской агрессии, восстанавливающей против СССР (и против России) понемногу весь мир, Вы или молчали, или находили какое-то оправдание Советам. То в "исторических задачах", то в необходимости для них "самообороны".

Вы знаете мою точку зрения. Советы несут страшное бедствие народам, стремясь к мировому коммунизму. Советы являются стороной нападающей, а не обороняющейся. Наглая, провокационная, угрожающая бывшим союзникам, подымающая волну ненависти политика их грозит обратить в прах все, что достигнуто патриотическим подъемом и кровью русского

народа; грозит утратой всякого влияния в славянских странах, утратой не только Прибалтики, западно-русских областей, Бессарабии - исторического и родового достояния России, к тому же закрепленного признанием союзников, но и балканизацией нашей родины. И потому, верные нашему лозунгу - "Защита России", отстаивая неприкосновенность российской территории и жизненные интересы страны, мы не смеем в какой бы то ни было форме солидаризироваться с советской политикой - политикой коммунистического империализма.

Второй мотив нашего расхождения - это принятая Вами система умолчания или неосуждения злодеяний советской власти вообще, очевидно, из тех же ошибочных побуждений, чтобы "не повредить России"... В течение нескольких последних месяцев нашего общения, когда Вы делились со мною своими впечатлениями и информациями, я не слышал от Вас убежденных и мотивированных слов осуждения, хотя и жизнь и пресса давали достаточно к тому оснований. Между прочим, Вы не обмолвились о противобольшевицкой литературе, с которой Вас познакомил Н. Н. и которая потом попала ко мне из других рук.

Так было во всем. Вы, например, относились весьма холодно к 3-ей эмиграции*, и когда я глубоко переживал трагедию этих несчастных

---

* Ген. Деникин, очевидно, имеет в виду 2-ую, т. е. оказавшуюся за рубежом в итоге Второй мировой войны, ведя отсчет от дореволюционной, которую он считал Первой.

людей, загоняемых в советский застенок, Вы как-то обмолвились:

– Кто не был предателем, тому ничего не сделают...

Конечно, я узнал и по стилю, и по смыслу, что обращение ко мне Добровольцев составлено Вами, точно так же, как и объяснение, подписанное Глотовым. Тем большую горечь доставила мне эта переписка в роковые дни, когда эмиграция стоит на распутье, когда меняются вехи, когда жизнь, отметая социальные и партийные противоречия, отмежевывает два стана – пробольшевицкий и противобольшевицкий, когда идет жестокая борьба между этими станами – в Вашем обращении не было ни намека на отношение к советской власти, ни намека на двуединый символ нашей Добровольческой веры: "Свержение большевизма и защита России". Об этом Вы умолчали.

Конечно, я считаю начало Вашего "обращения" – "Не отказываясь..." (прилагательное "славного" дела не меняет) – только неудачной фразой, ибо такая фраза стала ходячей для обличения сменовеховцев. Зная хорошо всю историю отношений Ваших со сменовеховским объединением, я отнюдь не имел в виду отожествлять Вас с ним, тем более, что Объединение стоит на почве п р и я т и я большевизма и советской власти.

Итак, "умолчание" и "неосуждение" Ваше – вот та брешь, которая развернулась между нами. Ваше настроение разделяют и другие добровольцы, знаю. Но мне особенно больно, что именно Вы поддались этому веянию, которое нельзя назвать иначе, как наваждением. Именно наваждением. Ибо если иностранцам

трудно понять и поверить, то ведь мы-то знаем хорошо о том неописуемом ужасе, в котором живут российские народы под советской властью, и который угрожает ныне всему миру. Общение с некоторыми близкими мне людьми за время пребывания в Париже, в силу именно этих веяний, бывало иногда мучительным. И не случайность, что сердечная болезнь моя, все более обостряющаяся, началась в Париже весною прошлого года...

Хочу все же верить, что наваждение минет, что Вы снова одинаково со мной будете относиться к судьбам нашей Родины.

Искренне мой привет и наилучшие пожелания.

А. Деникин

Н. РУТЫЧ

Последние годы генерала А. И. Деникина* (материалы к биографии)

Объявление войны 1 сентября 1939 г. застало генерала Деникина в глухой деревушке на юге Франции - Монтэй-о-Виконт, куда он уехал из Парижа еще весной с тем, чтобы приступить к работе над своим последним, как он сам пишет, "капитальным" трудом - "Путь русского офицера". Автобиографическая по своему жанру, новая книга должна была по замыслу генерала служить введением и дополнением к его монументальным пятитомным "Очеркам русской смуты"**.

События вспыхнувшей Второй мировой войны не могли не отвлечь генерала от его широко задуманной работы, далеко выходящей за пределы личных воспоминаний. Никогда не расставаясь с мыслями о судьбах России и своего народа, генерал Деникин, как видно из его

---

* См. также нашу статью: К опубликованию писем генерала А. И. Деникина, "Грани" № 128, 1983, сс. 5-26.

** Книга вышла незаконченной. А. И. Д е н и к и н. Путь русского офицера. Нью-Йорк: изд. им. Чехова, 1953.

писем этого периода, глубоко переживал все то, что совершалось, по его мнению, вопреки национальным и государственным интересам его страны. Особенно, начиная со времени договора между Гитлером и Сталиным в августе 1939 года.

Переживания генерала, равно как и его анализ создавшегося положения, нашли отражение в переписке с его другом, полковником П. В. Колтышевым, продолжавшейся до его возвращения в район Парижа в октябре 1940 года.

Публикуемые письма генерала Деникина этого периода не нуждаются в комментариях. Они и теперь, почти полстолетия спустя, свидетельствуют о глубине анализа и о его бескомпромиссной политической позиции.

Задачу эмиграции во время войны и, в частности, намечаемого Русского Национального Комитета, генерал определял с предельной ясностью, как "борьбу против пангерманизма и коммунизма до полного их уничтожения. Борьбу за восстановление национальной России - великодержавной и не ущербленной в естественных ее границах, признающую законные права - соседей и народов ее населяющих" (Письмо ген. Деникина от 20.9.1939).

Обратим внимание лишь на то, что эта политическая позиция генерала Деникина в период войны (а за ним продолжали следовать не только одни многочисленные соратники из "Союза добровольцев") опрокидывает ту искусственную фальсифицированную схему, навязываемую некоторыми советскими историками эмиграции, согласно которым вся эмиграция раскололась на два лагеря: сторонников Гитлера и сторонников Сталина.

Несмотря на то, что в эти два русла устремилась лишь незначительная часть тогда еще многочисленной эмиграции (во Франции не менее 50 тысяч), такие советские историки, как, например, Л. К. Шкаренко, упорно пытаются политически похоронить белую эмиграцию, подгоняя сравнительно немногие данные под спущенный сверху тезис о том, что война привела эмиграцию "...к окончательному размежеванию"* на гитлеровских коллаборантов и советских патриотов.

Первую военную зиму 1939-40 гг. генерал Деникин провел в Бург-ла-Рэн и переписку с полковником П. В. Колтышевым заменили личные встречи. Генерал часто приезжал в Париж на пригородном поезде, назначая свидания друзьям в далеких от "русского Парижа" кафе и "бистро" делового квартала столицы в районе Биржи. От этих зимних месяцев сохранились многочисленные записки и открытки с указанием времени и места встречи. Как всегда, генерал Деникин не забывал в этих записках прибавить несколько дружеских, теплых слов.

Германское вторжение во Францию и "молниеносная война" в мае-июне 1940 г. вынудили ген. Деникина, не желавшего оказаться под немецкой оккупацией, срочно покинуть Бург-

---

* Л. К. Ш к а р е н к о. Конец белой эмиграции. "Вопросы истории" № 8, 1979, с. 99. Эта статья, вместе с ее началом, опубликованным в № 5 "В.И." за 1976 г., выдержала уже два отдельных многотиражных издания в качестве "исторического труда" об эмиграции.

ла-Рэн. Железнодорожный транспорт уже не действовал. Как свидетельствует полк. П. В. Колтышев, генерал Деникин позже сожалел, что не обратился к нему как шоферу такси для отъезда с семьей на юг Франции. Генерал рассчитывал в случае дальнейшего продвижения германских войск добраться до испанской границы и, как, например, многие сторонники генерала де Голля, пробраться через Испанию в Англию.

Но судьба, как говорил генерал, сложилась иначе. Полковник Глотов - другой соратник генерала, довез на своей машине его с семьей (супруга Ксения Васильевна и дочь с мужем) только до виллы друзей на пляже в Мимизане к северу от Биаррица. Остановка в Мимизане и колебания полковника Глотова, рассчитывавшего на перемирие с тем, чтобы остаться во Франции, оказались роковыми. Германские моторизованные части, вопреки всем ожиданиям, быстро продвинулись вдоль Атлантического побережья и вышли к испанской границе раньше беглецов, застрявших в Мимизане.

Так начался не только тяжелый во всех отношениях, но и мучительный в силу нахождения под оккупацией, почти пятилетний период жизни генерала Деникина в Мимизане. Уже вскоре после прихода немцев генералу и его семье пришлось очистить виллу друзей на пляже и переселиться в убогий домик-барак в поселке Мимизан, в нескольких километрах от моря.

В этом холодном бараке, копаясь, несмотря на грыжу, в огороде, нуждаясь во всем, часто голодая в буквальном смысле этого слова, генерал Деникин продолжал писать свой труд "Путь русского офицера", доведя его, к со-

жалению, только до начала 1916 года.

Германское командование вскоре узнало о местопребывании бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России, не раз прорывавшего австро-венгерский фронт во главе своей Железной дивизии в 1914-16 гг. Посланный из Биаррица представитель германского командования на юге Франции предложил генералу переехать в Германию, обещая все удобства и даже доступ к собственному архиву, отвезенному генералом в Прагу в 1934 году.

Но генерал Деникин энергично отклонил это предложение, равно как и какую-либо помощь со стороны оккупационных властей на месте*.

Единственной поддержкой оставшемуся без всяких средств генералу была помощь друзей-добровольцев - ген. Писарева, полковников Колтышева, Лебедева, капитанов Латкина, Чижова и др., посылавших ему продовольственные посылки, причем отправителем всегда помечалась его дочь, вернувшаяся в Париж (как она сама о том свидетельствует**), так как все друзья генерала хорошо знали, что он никогда не согласится принять эту помощь, если узнает, что они делятся с ним последним, терпя сами нужду и добывая необходимое на "черном рынке".

---

* См. воспоминания К. В. Деникиной в "Новом Русском Слове", а также книгу его дочери: Marina Grey. Mon pere, le general Denikine. Paris 1985, c. 336.

** Там же, с. 335.

С начала немецкой оккупации Франции и до самого ее освобождения в 1944 году генерал Деникин был предельно осторожным в переписке с друзьями.

"Не время", как он сам пишет в одном из своих коротких писем, посланных, как правило, с оказией. От периода жизни в Мимизане сохранились многочисленные открытки, а также короткие письма, где речь идет главным образом о здоровье и где мелькают инициалы – вероятно, лишь имен и прозвищ друзей, судьба которых волновала генерала. Мы публикуем лишь те письма, которые, будучи посланы большей частью не по почте, избежали оккупационной цензуры.

Но даже письма, посланные с оказиями, отличаются своей сдержанностью. Забота генерала о своих оставшихся в Париже друзьях и вызванная ею осторожность отнюдь не означала, однако, даже временной "сдачи своих позиций". Были и исключения из правила. Таково, например, письмо, отправленное с оказией в начале 1942 года генералу П. К. Писареву, где генерал Деникин пишет о своих соратниках, что они "не должны ни падать духом, ни менять вехи". Предлагая свою формулу поведения под оккупацией "...что заставляет неволя – делай, а против России – не делай", генерал определяет в этом письме линию поведения для своих соратников – белых офицеров под оккупацией.

С уходом немцев из Мимизана 24 августа 1944 года переписка генерала Деникина с полковником Колтышевым принимает снова сравнительно оживленный характер. На первое место в ней выходят проблемы "Каноссы" той части

эмиграции, которая метнулась с уходом немцев в сторону так называемого советского патриотизма. И в этот критический период, как мы видим из писем, генерал Деникин остается верен себе, верен тем идеям и идеалам, за которые он боролся, начиная с 1918 года.

Переезд в Париж в мае 1945 года убедил генерала в том, что если он может еще что-либо сделать для России, то только в Америке. Воспользовавшись приглашением одного из своих соратников, он отплывает в США в конце ноября 1945 года, где сразу же после его прибытия А. Седых публикует его обширное интервью в "Новом Русском Слове", от 9 декабря 1945 года.

В Америке генерал Деникин выступает на многочисленных собраниях, призывая эмиграцию не менять вех и, как сообщает его американский биограф Лехович*, обращается с письмом к генералу Эйзенхауэру, пытаясь остановить насильственную выдачу русских военнопленных и власовцев.

В заключение нельзя не остановиться на последнем письме генерала Деникина, посланным им полковнику П. В. Колтышеву, уже из Америки в мае 1946 года. Будучи близок к митрополиту Евлогию и его окружению, полковник Колтышев, под впечатлением победы над Германией временно поддался модным тогда на Западе идеям об "эволюции" советского режима.

---

* D. V. Lehovich. "White against Red. The Life of general Denikin". N.Y. 1974.

Генерал Деникин заметил это "наваждение" и, несмотря на многолетнюю дружбу и самое тесное сотрудничество со своим старым соратником, написал ему это предельно ясное письмо, которое можно рассматривать, как своего рода политическое завещание.

Оригинал этого последнего письма генерала Деникина носит на себе следы долгого хранения его полковником Колтышевым у себя в бумажнике, с которым он не расставался. Оно его излечило. Наваждение прошло.

Немногим более года спустя - 7 августа 1947 года - генерал Деникин скончался. Его сердце не выдержало того физического и духовного напряжения, которое ему пришлось вынести в ходе Второй мировой войны. Но морально он остался непобежденным. Его письма, вплоть до последнего, свидетельствуют о том, что он жил только одним: надеждой на освобождение своей родины и верой в возрождение России.

Фридрих НЕЗНАНСКИЙ

Прыжок над пропастью

Причины перестройки

Мяч по имени "перестройка" введен в борьбу. История включила хронометр. И шансов овладеть этим мячом и довести до цели у сторонников перестройки, с нашей точки зрения, ничуть не меньше, чем у ее противников. Потому, прежде всего, что за команду "сторонников перестройки" играют и те, кого следует причислить к сторонникам переделки основ общества и государства.

Почему после стольких лет непрекращающейся борьбы между обществом и властью (стоившей стране около 60 миллионов человеческих жизней, чего никогда нельзя забывать), тоталитаризм чуть уступил, сдал свои позиции, и у трудящихся появился шанс переосмыслить, а значит и переделать жизнь?

На эту тему многое писалось. Скажем лишь, что Россия – в кризисной ситуации. Приведем два высказывания, одно принадлежит представителю власти, другое – общественности.

"Проблемы нарастали быстрее, чем решались. Общество становилось все более неуправляемым.

Мы только думали, что управляем, а на самом деле складывалась ситуация, о которой предупреждал еще Ленин: машина едет не туда, как думают те, кто сидит у руля"*.

"Рост социальной дифференциации на фоне четко обозначившейся тенденции к экономической нивелировке основных слоев и групп населения, падение престижа и низкая производительность труда, неудовлетворительное состояние сферы обслуживания, систематически воспроизводимый дефицит даже на низкокачественные товары, преступность, алкоголизм, наркомания, проституция и другие антиобщественные явления, ведомственное наступление на природу и материальную культуру прошлого – все эти социальные проблемы находятся в центре внимания общественности. Их постоянное, в ряде случаев даже расширенное воспроизводство вызывает большую тревогу, порождает социальную пассивность и неуверенность в будущем"**.

Первое высказывание принадлежит генсеку Горбачеву. Второе – социологу Осипову. Ощущается разница? Если представитель власти печется о том лишь, чтобы не упустить бразды правления, то представитель общественности встревожен тем именно, что разрушается живая

---

* По страницам книги М. С. Горбачева "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира". "Известия", 22.11.1987, с. 2.

** Г. П. Осипов. Человеческий фактор ускорения. "Социологические исследования", № 5, 1987, с. 11.

ткань гражданского общества. Вот граница борьбы советской власти с населением страны.

Отметим, что кризисная ситуация в социальном развитии России во многом стимулируется кризисной ситуацией, сложившейся в советской экономике. Это замечают все. Но не все замечают, однако, что жесткая регламентация, установленная в нашей стране тоталитарной политической системой, абсурдна. Абсурдна потому, что установлена не только вопреки объективным законам развития общества, но и вообще здравому смыслу. К чему привело "производство ради производства, ради формального выполнения плана"? Разве этот абсурд коснулся только экономики? Конечно нет. Пресловутая директивная экономика завела в тупик не только экономическое, но и социальное развитие страны.

Решение всех, а тем более социальных проблем только экономическими средствами невозможно. Экономика ведь действует в социальном контексте. Она не только определяет возможности развития социальной сферы. Экономика и сама находится под ее воздействием. Все, все в обществе проявляется через деятельность людей. И главное здесь – удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов. А потребности и интересы проявляют не только люди из управляющего класса, но и представители других социальных групп и слоев. А их, по мнению академика Т. Заславской, сейчас в СССР насчитывается не менее семидесяти. И интересы этих групп в течение десятилетий советской властью игнорировались. Когда ученые популярно объяснили этот факт в Политбюро, там, очевидно, кое-что поняли по поводу

причин неуправляемости общества. И, судя хотя бы по вышеприведенной цитате из книги Горбачева, всполошились. В этой проблеме мы видим ту побудительную причину, которая заставила советское руководство частично изменить курс своей внутренней, а в связи с нею и международной политики. Только близкая возможность потери власти вынудила к политике перестройки, выдвинутой на XXVII съезде КПСС. Заметим, это важно, что на наших глазах видоизменяются позиции внутри самой правящей партии. Если одни из представителей высшего эшелона власти продолжают проводить политику, направленную на совершенствование социально-экономических структур и организационных форм, то другие акцентируют внимание на потребностях и интересах человека. На его отношении к обществу и государству. На ценностных ориентациях и установках.

Подведем предварительные итоги. Касаются они побудительных причин, приведших к новому политическому курсу КПСС под названием "перестройка". С нашей точки зрения, они следующие:

1) власть осознала кризисность ситуации в стране, при которой "машина шла не туда, как хотелось бы тем, кто сидел у руля";

2) мыслящая часть общества (прежде всего профессионалы: экономисты, инженеры, юристы, журналисты и др.) также осознала кризисную ситуацию, сложившуюся как в народном хозяйстве, так и в социальной сфере общества;

3) было заключено негласное компромиссное соглашение между конструктивно мыслящими представителями корпуса власти и профессионалами из действующего слоя о переходе к

изменениям в политике, экономике, социальной сфере, в праве – к новому курсу внутренней и внешней политики под термином "перестройка";

4) непременным условием этого компромиссного соглашения было наложение табу на расширение параметров перестройки, которые не должны разрушать основ построенной общественной системы – "социализма".

От тоталитарного к демократическому управлению

Советское тоталитарное управление – управление жестко политизированное. Оно прямо подчиняет интересы человека интересам власти, исходит из безусловного преобладания законов политики над объективными законами экономической и социально-культурной деятельности. Оно является антиподом режима политической свободы, соответствующего парламентской форме правления и либеральным методам осуществления политической власти. Этот второй вид политического режима стремится к управлению экономической и социально-культурной деятельностью на основе ее собственных объективных законов, к тому, чтобы политический эффект был естественным следствием естественной жизнедеятельности общества и человека.

Режим, который существует в СССР, характеризуется широким применением насилия и произволом, исключающим политические свободы для оппозиционных социальных групп и нередко ограничивающим политическую свободу людей из управляющего класса.

"Хорошо известно, что в свое время наше управление сложилось как жестко политизированное и до сих пор без особой к тому нужды сохраняет это свойство. Сдвиг к умеренно политизированному, социализированному управлению потребует прежде всего признания и развития социалистической экономической демократии. До сих пор она фактически отрицалась"*.

Советские ученые считают, что исходный пункт перестройки - в переводе основного производственного звена на полный хозрасчет, когда государство не отвечает по счетам предприятия, а предприятие не отвечает по обязательствам государства. В таких условиях коллектив самостоятельно принимает хозяйственные решения, материально отвечая за них. А это значит, что:

"...административное вмешательство в деятельность предприятий, как это имеет место сейчас, недопустимо, должна коренным образом перестроиться работа плановых, отраслевых, территориальных органов. Планирование следует сосредоточить прежде всего на обосновании экономических нормативов, цен, финансово-кредитных условий и стимулов, а также государственных заказов по ограниченной и все более сокращающейся номенклатуре... Соответственно должны перестроиться и отраслевые министерства. Им предстоит стать научно-техническими и планово-экономическими штабами отраслей, отказаться от мелочной регламентации

---

* Б. П. Курашвили. Аспекты перестройки. "Советское государство и право", 1987, № 12, с. 3.

предприятий. Также и территориальные органы должны будут отказаться от волевых методов руководства: посылки коллективов на полевые работы без возмещения затрат, привлечения их к благоустройству территории городов, в помощь строителям и т. д. Как говорится, каждый должен нести свой чемодан"*.

Но чтобы управлять, нужно иметь ресурсы. Где их взять? Надежда на то, что местные органы получат их за счет отчислений от платежей за региональные ресурсы (природные и трудовые), а также за счет отчисления части прибыли. Этим надеются связать эффективность работы предприятий с величиною местного бюджета. В местные бюджеты будет отчисляться и часть налога с оборота от производства и реализации товаров на данной территории (исключая винно-водочные и табачные изделия). В подчинении местных советов формально находятся агропромышленные комплексы, территориально-строительные организации. На них возложены функции по организации производства товаров широкого потребления и социальному развитию. В будущем часть мелких и средних предприятий всех отраслей промышленности также должна будет перейти в местное подчинение. Однако уже сейчас можно сказать, что местные органы до тех пор будут проявлять свою хроническую болезнь - инертность, пока в стране не наступит подлинная демократизация общественной жизни. Пока жизнь не снимет партийных оков с деятельности местных

---

* А. Г. Аганбегян. Программа коренной перестройки. "ЭКО", № 11, 1987, с. 17.

советов. И дело не в создании власти советов в центре и на местах с обязательным руководством советами первыми секретарями парткомов, о чем говорилось на XIX партконференции. Суть в серьезном давлении со стороны трудящихся масс на правящую партийную машину, в освобождении муниципалитетов от партийного диктата.

В связи со сказанным в первый ряд проблем встают не только меры по реализации начал экономической демократии, но и решительные меры в сфере социально-культурной и гуманитарной демократии. Необходимы не только политические и экономические свободы, но и слом бюрократизации в духовной сфере, в сфере творчества, прежде всего художественного, включая распространение его результатов и свободу дискуссий. И в этом плане следует обратить внимание на профессиональные ассоциации, неформальные объединения и общественные организации. Необходимо продолжать борьбу с властью за снятие ограничений. Охранительная идеология подразумевает наличие врага, от которого нужно защищаться. Образ этого врага часто надуманный и расплывчатый. И здесь исключительно важно стимулирование политического, духовного и социального творчества инициативных групп, национальных меньшинств, религиозных общин, различных прогрессивных движений. Конечно, проблема эта нелегка, поскольку обществу в ближайшие годы необходимо приучить власть к уважительному, терпимому отношению к необычным проявлениям человеческого духа, к нежелательным для нынешней власти, но полезным для общества действиям граждан. Только в этом случае

будет создан в России новый социальный климат, возникнет общественный подъем, активизируется "человеческий фактор", ускорится социально-экономическое развитие страны.

Сторонники и противники перестройки

Литератор Ю. Карякин сказал: "Мы усваиваем наконец главный урок всей истории, нашей особенно: не постой за волосок - головы не станет"*. Слова эти соответствуют ситуации в СССР: страна, как и правящая партия, разделилась на два огромных враждующих лагеря - "за" и "против" перестройки общественных основ. Борьба эта жестокая, она затрагивает интересы многих миллионов. А верный позиции "полуправды" Горбачев утверждает: "У нас нет сколько-нибудь значительных групп населения, чьи перспективные интересы непримиримо противостояли бы перестройке"**.

В то время как готовилась к изданию книга Горбачева, из которой взята эта цитата, доктор юридических наук А. Венгеров опубликовал статью "Дисциплина перестройки: противники и сторонники". В ней он ссылался на Ленина: "Сторонники реформы и улучшений всегда

---

* Ю. Карякин. Стоит ли наступать на грабли. "Знамя", № 9, 1987, с. 220.

** М. С. Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. Москва, 1987, с. 71.

будут одурачиваемы защитниками старого, пока не поймут, что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно ни казалось, держится силами тех или иных господствующих классов". А единственным средством сломить сопротивление "защитников старого" он считал следующее: "Найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать для борьбы такие силы, которые могут – и по своему общественному положению должны – составить силу, способную смести старое и создать новое"*.

Исходя из специфики социальных структур и противоречивых социально-экономических интересов различных социальных групп, можно нарисовать образ как сторонника, так и противника реформы (в рамках советской политической системы).

"...безусловно правильным является отнесение к противникам перестройки прежде всего тех работников аппарата управления, которые могут потерять не только определенные привилегии, но и работу, т. е. социальную группу "распределителей" лимитов, нормативов, показателей, ресурсов и т. д. "Сброс" многих из этих вопросов с верхних эшелонов управления вниз, передача их на рассмотрение и решение трудовых коллективов, расширение хозяйственной самостоятельности предприятий (объединений) до полного хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости грозит этим работ-

---

* Ленин В. И. ПСС, т. 23, с. 47.

никам потерей власти, престижа, возможности получать определенные блага, услуги за решения, благоприятные для управляемых.

К противникам перестройки относятся и некоторые хозяйственники, привыкшие ждать указаний "сверху" и перекладывающие на "верхи" всю ответственность за состояние дел. Значительная часть противников перестройки - это работники, сознающие, что они получают незаработанную зарплату, и не желающие интенсифицировать свои трудовые усилия. К последней группе, на наш взгляд, относятся и те работники, которые занимаются главным образом малоквалифицированным ручным трудом. Разумеется, не все, но часть именно этих работников - и отнюдь не малочисленная - также противится объективно назревшим процессам переквалификации, интенсификации трудовых усилий и т. п. Здесь наиболее широко применяется "выводиловка", оплата за простои и т. п.

Наконец, противников реформы следует дополнить и теми группами, которые привыкли жить на нетрудовые доходы, скопили определенные состояния за счет хищений, взяток, спекуляций и других корыстных преступлений, а также путем наследования больших ценностей, имущества и т. п. Они, естественно, боятся новых форм контроля за мерой труда и мерой потребления, вводимых нормативными актами о борьбе с нетрудовыми доходами, им не нужна и интенсификация трудовых затрат. А вопрос об интенсификации трудовых затрат каждым

работником – это один из самых коренных вопросов реформы"*.

Против перестройки выступает часть партийного аппарата. Венгеров считает, что решения, касающиеся перестройки методов осуществления функций правящей партии, затрагивают интересы определенного слоя партийного аппарата, ведут их к неприятию перестройки, к попыткам идеологически обосновать свою позицию путем подмены вопроса о методах реализации функции правящей партии вопросом о существе этой функции.

Бюрократический аппарат в СССР, обусловленный тоталитарной системой управления, разросся до невиданных размеров. Совет Министров должен охватывать не сто (как сейчас), а не более двадцати министерств. Управляющий класс по минимальным подсчетам составляет 18 миллионов человек. Население СССР – 285 млн. человек. На шестнадцать человек, включая стариков и детей, приходится один надсмотрщик! Такая расстановка сил была нужна Сталину. Горбачеву она не нужна. Даже вредна: коррумпированный бюрократический слой оказался первым врагом для партийного руководства. Он, словно раковая опухоль, поразил ткань общества, нарушил связи внутри него. Возникло своеобразное двоевластие: местная и ведомственная власти вышли из-под контроля центральной партийной власти. Бюрократический аппарат стал помехой для партийной власти. Вот

---

* А. Б. Венгеров. Дисциплина перестройки: противники и сторонники. "Советское государство и право", 1987, № 8, с. 5, 6.

рат стал помехой для партийной власти. Вот еще одна причина к политике перестройки. В данной ситуации интересы населения и Горбачева совпали. И новому политическому руководству, и народу обрыдли бюрократы-коррупционеры типа Рашидова, Щелокова, Чурбанова, Сушкова и Трегубова. В данной политической ситуации Горбачев и его группа намерены расправиться с бюрократией.

А говоря о сторонниках перестройки, Венгеров указывает:

"К сторонникам реформы относятся значительная часть рабочего класса, которая связана с передовой техникой и технологией, большинство работников сельского хозяйства, инженерно-технические работники и другие отряды интеллигенции. Это, конечно, и та часть аппарата управления, которая стремится к использованию экономических методов управления, новой информационной технологии"*.

Примерно той же позиции придерживается и публицист А. Стреляный. Он полагает, что "социальная база перестройки: рабочие высшей квалификации, научно-техническая интеллигенция - частично, часть творческой интеллигенции, часть низшего слоя партаппарата и хозяйственных руководителей"**.

Таким образом, советское общество разделено ныне на два лагеря. Квалифицированные рабочие, крестьяне, часть научно-технической

---

* А. Б. Венгеров, цит. источник, с. 6.

** Дискуссия в МГУ. "Посев" № 9, 1987, с. 4.

телей – стремятся от слов перейти к делу. Другая часть высшего и низшего партаппарата, научной и творческой интеллигенции, работники министерств и ведомств – распределители лимитов, часть хозяйственников, малоквалифицированные рабочие, бюрократический аппарат и т. д. активно тормозят этот процесс...

Модели поведения в период перестройки

Горбачев неправ: социальный процесс не может проходить безболезненно. Не может не встречать сопротивления тех или иных социальных сил. Журнал "ЭКО" смоделировал сценарии поведения социальных групп в зависимости от развития событий. В основу этой работы легли прогнозы экономистов, социологов и руководителей предприятий*.

1. Сценарий "страуса": не замечать реальные проблемы. В основе – глухое неприятие перемен. Опора – самые консервативные и бездеятельные силы общества, привыкшие к оплате за должность, а не за труд, к благам за счет своей причастности к распределительным процедурам в условиях дефицита. "Пошумят, покритикуют друг друга, выпустят пар – и успокоятся", – говорят они. "Конечно, есть у нас недостатки, но у кого их нет? Ведь жили спокойно, да и грязное белье перед миром не выворачивали".

---

* В. Быков. "Медведь" "лисы" не лучше. "Московские новости", № 48, 29. 11. 1987, с. 10.

Не следует думать, что "страусы" слабы. Они как раз сильны своей демагогией, обвинениями "перестройщиков" как в левацком загибе, так и в разрыве с принципами социализма, в его перерождении. У такого варианта немало сторонников. И в эшелоне власти, и в сфере неквалифицированного, но высокооплачиваемого труда.

2. Сценарий "лисы": обойти реальные проблемы. В его основе – понимание того, что надо что-то менять. Одновременно животный страх перед любым обновлением. Значит, надо хитрить. В чем может воплотиться этот подход? В идее ста тысяч малых реформ. По каждой болевой точке повседневной жизни может быть принята маленькая реформа, демонстрирующая заботу и понимание "нужд простого народа". Следует сказать, что немалая часть населения охотно откликается и на эту демагогию, осуждает как крикунов и экстремистов всех, кто требует кардинальных перемен. Сумма мелких улучшений выдается "за революционное обновление общества". Такая политика лжива, недаром названа "лисьей". Но у нее тоже есть сторонники. Не самая оголтелая, как у "страуса", но зато самая циничная часть всеобъемлющего тоталитарного аппарата управления – бюрократы среднего, а порой и верхнего уровня иерархии. Они понимают, чтобы удержаться в кресле, надо очень громко кричать: "даешь перестройку!" В народе их уже окрестили "пристройщиками".

Обе названные стратегии исходят из политики обхода ключевых проблем, ведут к закреплению тенденций застоя в обществе.

Напротив, следующие два варианта основаны на готовности многое и решительно изменить.

3. Сценарий "медведя": навести в стране порядок лапой с железными когтями. "Гласность", как метод расправы с политическими противниками из брежневской коррумпированной бюрократии, позволила Горбачеву обнажить существовавшие со времени зарождения советской власти, но замалчиваемые руководством КПСС факты вопиющей бесхозяйственности, морального разложения, злоупотреблений властью, взяточничества и расхищений общественной собственности - со стороны управляющего класса. Совершенно не подготовленное к такой откровенности общественное сознание части людей, особенно в старших возрастных группах, восприняло шквал "негативных сообщений", свидетельствующих в конечном итоге о кризисе власти, как беспорядок, возникший сегодня. На это шоковое состояние наложился страх многих тысяч бюрократов за свое положение, боязнь ответственности за совершенные злоупотребления и полное неумение вести дело экономическими и правовыми методами. У них остается лишь один путь спасения: возврат к методам "закручивания гаек". "Вспомните, - говорят они, - какой порядок был при Сталине! Все знали свои места, работали как надо, не было баловства, цены снижались, был всеобщий энтузиазм, сплошные успехи и победы".

4. Сценарий "промышленника-сепаратиста": дайте мне полную свободу маневра, право покупать и продавать, право распоряжаться деньгами и жильем - и все проблемы будут сняты! В основе такой стратегии лежит иллюзия, будто для разрешения стоящих перед обще-

ством проблем достаточно чисто экономических методов.

Этот сценарий – детище многих хозяйственных руководителей и их идеологов из числа ученых. Вот обоснование хозяйственника: "Я убедился, что вся пирамида управления и вся непроизводственная сфера – болтуны и нахлебники. Единственная реальная сила – я сам и мой коллектив, его производственный потенциал и моя изворотливость. Все остальное – брехня. Вы получите эффективную экономику, только дайте мне полную хозяйственную самостоятельность – подлинную власть!"

Надо понимать, что сценарий, рассчитанный на решение всех накопившихся противоречий за счет преобразований в одной лишь хозяйственной сфере, не затрагивающий механизм политической и духовной жизни общества, не опирающийся на демократические сдвиги, которые бы сузили роль центральной партийной власти, – не в состоянии привести к обновлению гражданского общества России.

Все приведенные сценарии предполагают неизбежное пренебрежение личностью трудящегося ради целей, лежащих вне его интересов: удержание привилегий, достижения власти, решения чисто технических или чисто экономических задач.

Есть еще один сценарий, не затронутый авторами "ЭКО". Его обрисовал профессор МГУ Г. Попов. Он сообщает, что его заметка, опубликованная в "Московских новостях", вызвала многочисленные телефонные звонки и письма в редакцию. Попов пытался разобраться в первых впечатлениях от отстранения Бориса Ельцина от руководства Московской городской партийной

организацией. Не называя авторов писем и вопросов, Попов отмечает, что многие из них считают – никакой особой концепции перестройки у бывшего первого секретаря МГК не было. Он не согласен с этим утверждением и заявляет:

"Я же считаю, что такая – особая – концепция была. Она излагалась и в выступлении на XXVII съезде партии и в других его речах. Она проводилась в практических делах. Я бы назвал такую позицию авторитарным консервативным авангардизмом. Авторитарным – так как главными действующими силами перестройки объявляются не массы, а руководители. Авангардизмом – потому что, будучи горячим сторонником перестройки, Б. Ельцин пытался достичь ее цели в один-два прыжка, оставляя позади объективную реальность в виде множества серьезнейших проблем, требующих поэтапного решения и многотрудной повседневной работы. Консервативным – поскольку подобный метод, будучи заведомо обреченным на бесплодность, способен лишь дискредитировать перестройку, независимо от субъективных намерений авангардистов, а потому отвечает интересам наших консерваторов"*.

С точки зрения Попова, перестройка видится части общества – авангардистам в том числе – не во внедрении в жизнь концепции радикальной экономической реформы и органически связанной с нею демократизации общества, не в перестройке механизма партийной, государственной и общественной жизни, а прежде

---

* Г. Попов. Какая перестройка нам нужна. "Московские новости", 51, 20.12.1987, с. 15.

всего – в смене кадров. Такая концепция отражает взгляд той группы работников партийного аппарата, которая уверовала во всемогущество тоталитарной политической системы, в способность партаппарата решать любые проблемы, не сходя с трибуны, и которая единственную причину торможения видит в отсутствии у аппарата и внутри него достойных руководителей.

Интересная подробность: в одно и то же время Горбачев избавился от двух сильных соперников – Алиева и Ельцина. Если исходить из сравнения перестройки с игрой в футбол, то можно сказать, что тренер снял сразу двух игроков – правого и левого нападающего. Они выкатились вместе с мячом в аут. И если Алиев был лидером "медведей", то Ельцин бесспорно "играл" за команду "авторитарных авангардистов". (После этих удалений более ясно проступили контуры самой горбачевской перестройки.)

Концепция, которую представляет Ельцин (по мысли Попова), отражает взгляды той лучшей части партаппарата, которая полагает, что служит народу. Но она так долго распоряжалась создаваемыми трудящимися и принадлежащими им ценностями, что для нее заботы об интересах народа мыслимы только в виде отеческой опеки над трудящимися, в виде попечительства, в виде даруемых народу сверху пожалований – будь то материальные блага или формы демократии.

Эта формулировка (уже с нашей точки зрения) относится не только к Ельцину. Она охватывает всю модель советского партийного аппарата, начиная с генсека Горбачева и кончая инструктором райкома партии где-нибудь на

инструктором райкома партии где-нибудь на Сахалине или Кушке. Ельцина Горбачев уволил не за концепцию, а за ретивость, с которой он взялся за чистку коррумпированного партаппарата Москвы. И еще за соперничество: кто знает, а вдруг партия выскажется за нового лидера?

Тактика перестройки

Как работают на деле описанные выше модели поведения?

В жизни эти группы ведут себя активно и не думают сдаваться на милость победителя. Люди сталкиваются на практике с искажениями так называемой дисциплины перестройки. *В самом процессе перестройки, как и в ее содержании, проявился существенный фактор: половинчатые меры во всем.* Первый этап перестройки реально начинается с 1987 г., с решений январского и июньского пленумов ЦК КПСС. Вводится в действие Закон об индивидуальной трудовой деятельности. Характерно, что первым был принят именно этот закон, находящийся по мнению юристов на периферии перестройки. Принимаются Закон СССР о государственном предприятии (объединении), Указы Президиума Верховного Совета СССР и постановления Совета Министров СССР о совместных предприятиях, международных объединениях и организациях СССР и других стран – членов СЭВ и о совместных предприятиях с участием капиталистических и развивающихся стран, а также законы о всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни, о порядке обжалования в

суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан.

Почему мы говорим о законах, закрепляющих правовым путем перестройку? Потому что одной из важнейших задач сегодняшнего дня становится сплочение сторонников реформы против отсталых или реакционных сил общества.

Речь идет о том, чтобы политические, организационные и экономические решения, направленные на интенсификацию трудовых усилий, получили бы правовое выражение. Сторонники перестройки понимают это. И если им удастся интересы передовых социальных групп выразить и своевременно закрепить как правовые требования в виде законов, если экономическую и организационную перестройку им удастся дополнить перестройкой юридической и реализовать ее содержание на практике – реформа сдвинется с мертвой точки.

Но на практике как принципиальные установки, так и конкретные нормативные решения носят, как правило, половинчатый характер.

Так, Законом о государственном предприятии (объединении) директивное планирование в основном сохраняется. Закон не говорит об обязательных плановых заданиях, но устанавливает обязательность государственных заказов. Разницы мало. Если даже вышестоящий орган распространил государственные заказы не на всю номенклатуру и объем производства, это не гарантирует самостоятельность предприятия хотя бы "на обочине". Есть еще контрольные цифры, которые "доводятся" до предприятия. Об этом знают колхозы. Будучи кооперативами, формально они не подпадают под директивное планирование. Но они знают, что фактически

это то же самое, что и обязательное задание. Закон же провозглашает противоположное. Но ничто не помешает вышестоящему органу ставить свои решения в зависимость от принятия предприятием его контрольных цифр. А речь идет о таких проблемах, как экономические нормативы и фондируемое снабжение.

С одной стороны, декларируется полный хозрасчет. С другой – такая его предпосылка, как самопланирование, урезывается. Логике объявленного полного хозрасчета противоречит и то, что закон допускает не только естественный остаточный принцип образования фонда оплаты труда, но и нормативный принцип. Такое положение опять ставит благосостояние трудового коллектива в зависимость от административного усмотрения. Словом, переход от преимущественно административных к преимущественно экономическим методам управления экономикой отодвигается в неопределенное будущее.

Кто создает эту половинчатость в принятии решения?

Конечно же, все эти "страусы", "лисы", "медведи", "промышленники-сепаратисты", о которых мы говорили выше. Действуют эти группы бюрократов весьма разнообразными способами: от искажения и выхолащивания в ведомственных нормативных актах основополагающих принципов и правовых установлений перестройки до практической деятельности многих звеньев органов, обходящих эти принципы и установления.

Бюрократия превратилась в реальную социальную силу (от 85 до 95% респондентов, по данным социологических исследований, счита-

ют, что при решении любых проблем им приходится сталкиваться с противодействием бюрократии). Именно "повара"-бюрократы (а это работники райкомов и обкомов, районных и областных исполкомов, чиновники министерств и ведомств) - варят безвкусную похлебку под названием "мнимая перестройка".

Ограниченность горбачевской перестройки наблюдается и в решениях центральной партийной власти. Так, для получения права заниматься индивидуальной трудовой деятельностью требуется разрешение государственного органа. По логике вещей достаточно было бы процедуры регистрации. Одним словом, политика перестройки обнаружила твердую склонность к половинчатым промежуточным решениям.

Система и ситуация

Как отметил Горбачев в речи на XVIII съезде профсоюзов, "теперь перестройка задевает всех: членов Политбюро, секретарей ЦК, членов правительства, и рабочих, и колхозников, и интеллигенцию. Все общество задевает. Затрагивает интересы всех и каждого"*. Если перестройка задевает всех, то прежде всего она задевает советскую политическую систему.

В основу классификации политических режимов положен критерий свободы и несвободы, запрещений или ограничений политической деятельности различных социальных групп и орга-

---

* М. Горбачев. Перестройка - кровное дело народа: Речь на XVIII съезде профсоюзов СССР. "Правда", 26.2.1987.

низаций, выражения ими своих интересов в форме политических требований, программ и взглядов. Речь идет о свободе политических оппозиций как со стороны отстраненных от власти социальных групп, так и внутри управляющего класса. Следует обратить внимание на то, что чем более социально разнородным является общество, тем большее значение приобретает право на политическую оппозицию как критерий классификации политического режима. И главное здесь – свобода политических партий, слова, печати и т. д. Это и есть объективные признаки, характеризующие режим. Без элементарных политических свобод группы и слои населения не могут вести борьбу за улучшение жизни, о которой так много рассуждает Горбачев.

Он, кстати, постоянно ведет речь об отсутствии политической оппозиции в СССР. А это неправда, так как КПСС, как партия, отражает социальные интересы управляющего класса, а не остальных семидесяти социальных слоев, которые оказались без политической защиты, без выразителей их интересов. В СССР элементарные политические и гражданские свободы подавляются партийно-государственной машиной. Поэтому-то трудящиеся страны лишены какой-либо возможности не только проводить коренные преобразования в обществе и государстве, но и вести борьбу за те социальные реформы, которые являются необходимым этапом в развитии России.

И в период новой политики правящая партия продолжает тотально воздействовать на дела и умы граждан. Она вмешивается в вопросы, отнесенные к компетенции советов народных депута-

тов, в деятельность государственного аппарата и хозяйственных органов, в работу общественных организаций и профессиональных союзов.

Вывод один: КПСС намерена исповедовать тоталитаризм и впредь! По-прежнему правящая партия ставит свои ограничения в отношении населения. Только отныне вводятся новые допуски и лимиты. Истины ради, следует сказать, что "сталинский" тоталитаризм заканчивает свое существование. Политико-управляющие системы в СССР, базируясь на резолюциях XIX партконференции, пытаются учредить новую модель тоталитарной политической системы - "ленинскую".

Варианты перестройки

Академик Т. Заславская считает, что экономическая реформа может быть либо быстрой и радикальной, либо растянутой и постепенной. Единовременное осуществление радикальной реформы общественных отношений, с ее точки зрения, таит в себе опасность как политического авантюризма, так и бюрократизации перестройки, замены преобразующей деятельности псевдодеятельностью по выполнению "спущенных" показателей. Затягивание перестройки чревато не меньшими опасностями. Судя по опыту реформы 80-х годов в Венгрии, растянутое во времени некомплексное внесение отдельных изменений в хозяйственный механизм не позволяет добиться качественного изменения системы управления экономикой. К тому же медленное развитие реформы снижает стабильность общественной жизни, влечет растущее недоволь-

ство населения. При определенных условиях это вызывает необходимость не только временных отступлений, но и длительного отказа от дальнейшего осуществления реформы, что противоречит коренным интересам общества.

Разумеется, анализ этот дан, исходя из существующей в СССР политической системы. В рамках демократического общества экономическую реформу можно было бы провести в довольно короткий срок.

Что же предлагает сама Заславская? Вот ее рассуждения:

"Думается, что оптимальная стратегия перестройки включает, во-первых, глубоко научную проработку ее принципиальных вопросов, формирование надежно обоснованной концепции, охватывающей все основные элементы реформы, во-вторых, сравнительно быстрое (в течение одного-двух лет) осуществление комплексного преобразования системы экономических отношений. Но эти соображения представляют собой не более чем гипотезу"*.

Конечно, Заславская разрабатывает лишь версию, понимая, что "комплексное преобразование системы экономических отношений" кардинально изменит и социальную, и политическую основу советского общества. А на такой шаг Горбачев не решится. Этот шаг поведет политических руководителей страны "в незнаемое", т. е., скорее всего, - в иную политическую структуру общества и государства...

---

* Т. И. Заславская. Актуальные проблемы экономико-социологической теории. "Экономика и прикладная социология", 1987, № 13, с. 11.

На этой точке остановимся. Поговорим о том, как реально складывается перестройка.

Путь первый: контрперестройка.

Рассуждая о перестройке, рабочий В. Ищук восклицает:

"Знакомая женщина, поздоровавшись, говорит: 'Слышал новость? Директор объявил, что на нашем предприятии перестройка уже закончилась. Ты поверишь, третий день не могу успокоиться'. ...Мужчина заявляет на весь троллейбус: 'Нет никакой перестройки, одни слова' "*.

Еще более емко объяснил ситуацию в стране писатель Ион Друцэ:

"Народ устал от бесконечного множества носящихся в воздухе, неуловимых, таинственных, не поддающихся определению, глобальных сверхзасекреченных истин. Временами нам говорят, что мы не компетентны судить обо всех кардинальных вопросах нашей жизни. Но там, где дело касается того, жить или не жить, - компетентен каждый, кто хочет жить. Конечно, не надо думать, что раскрепощение слова идет по нашей стране в виде олимпийского факельного шествия. Существует, конечно, и лагерь противников обновления, считающих своим феодальным умом, что если кому что и дано, то это пожизненно, а если что из материальных благ отнимается, то отнимается сама жизнь. И вот они в спешном порядке возводят крепости и бастионы, подсчитывают

---

* В. Ищук. Хочу понять и разобраться. "Литературная газета", № 52, 23.12.1987, с. 10.

резервы и боеприпасы, дают клятвы выстоять до последнего дыхания..."*

Противники перестройки сильны. У них опробированная теория централизованного управления. У них марксистско-ленинская идеология, нацеливающая КПСС на разрешение всех вопросов общественного и государственного развития путем совершенствования экономических, социальных и политических структур. Они уже разработали модели поведения в период перестройки типа "лисы", "страуса" или "медведя" и дают жестокий бой сторонникам ломки старого. Вдумаемся в слова того же Друцэ: "Иной раз в самом деле начинает казаться, что перед нами стена. Гора. Непроходимые болота"**. Он прав, у этих людей есть опыт побед. Это они изменили ход "хрущевской оттепели" конца 50-х годов и хозяйственной "косыгинской реформы" конца 60-х. Это они сыграли ключевую роль в контрреформе начала 70-х годов, привели страну к периоду "брежневского застоя".

Путь второй: полуперестройка.

Отмечая двадцатилетие "Пражской весны", газета "Руде право" писала, что нельзя отождествлять перестройку в СССР с событиями в Чехословакии: Горбачев действует в рамках системы, а Дубчек пытался разрушить социализм. Основания к этому заявлению подготов-

---

* Мнения писателей. Ион Друцэ. "Литературная газета", 1988, № 1, с. 4.

** Ион Друцэ, цит. источник, с. 4.

лены как самим Горбачевым, так и теоретиками его перестройки.

Горбачев утверждает:

"Разумеется, советскую власть мы менять не собираемся, от ее принципиальных основ отступать не будем. Но изменения необходимы, причем такие, которые укрепляют социализм, делают его политически богаче и динамичнее"*.

О том же говорит и идеолог перестройки А. Яковлев:

"Перестройка - время самоочищения и фундаментальных перемен, продолжение в новых исторических условиях дела Великого Октября..."**.

А новый теоретик политэкономии Э. Плетнев, заявляя о необходимости принципиального прорыва на теоретическом фронте, задает вопрос: способна ли "старая" политэкономия обеспечить теоретическую основу перестройки хозяйственного механизма? И тут же цитатой из Ленина отвечает:

"А я позволю себе думать по старинке, что после Маркса говорить о какой-нибудь другой, немарксовой политической экономии можно только для одурачивания мещан, хотя бы и "высокоцивилизованных" мещан" (ПСС, т. 45, с. 268).

---

* М. С. Горбачев, цит. источник, с. 51.

** А. Н. Яковлев. Достижение качественно нового состояния советского общества и общественных наук. "Вестник Академии наук СССР", № 6, 1987, с. 2.

"В этой ленинской "старинке", - продолжает Плетнев, - а не модерновых "новациях" и содержится основа для ответа: что требуется от политэкономии в условиях перестройки, как завершить коренную хозяйственную реформу в интересах трудящихся, т. е. с точки зрения политической экономии рабочего класса"*.

И как же проходит эта "коренная хозяйственная реформа в интересах трудящихся"?

Реальные шаги горбачевской перестройки выявили не вызывающую особого удивления тенденцию к половинчатым промежуточным решениям. Систему мер, осуществляемых Горбачевым, можно охарактеризовать как противоречивую, основанную на полумерах либерализацию общества и государства, низкая эффективность и черепашьи темпы которой резко сдерживают развитие гражданского общества страны. И тут не помогают красивые слова о том, что "нужно обеспечить плавность перехода от разлаженной устаревшей к принципиально новой системе управления". Мы должны ясно осознавать, что речь идет не о замене старой политической системы на новую, а об изменении формы государственной машины. На наших глазах "сталинский" тоталитаризм меняется на "ленинский".

Тоталитарный строй по-прежнему не ограничивается политической диктатурой. Он ставит под контроль и экономику, и область духа. Он требует "активной несвободы". И хотя при "ленинском" варианте тоталитаризм смягчен

---

* Э. Плетнев. Политэкономия и перестройка. "Правда", № 352, 18.12.1987, с. 2.

(раскрепощено слово, а это, на наш взгляд, самое крупное событие горбачевской перестройки), основы его еще незыблемы: все традиционно независимые образования, от Церкви и до спортивных обществ, рассматриваются как часть единой структуры, управляемой КПСС.

Курс горбачевской "полуперестройки", вернее мнимой перестройки, как раз соответствует устремлениям инициаторов новой политической линии. С одной стороны, Горбачев стремится развязать инициативу граждан с тем, чтобы они проснулись наконец от спячки, стали работать на социалистическое государство. С другой, с помощью политики перестройки он освобождается от своих сильных политических противников брежневской закалки, противников, являющихся так же, как и он, членами партийной номенклатуры.

И, думается, мнимая перестройка – полуперестройка решит лишь локальные проблемы, стоящие перед Горбачевым и его "партией в партии"...

Путь к будущей России

Как видим, инициаторами как контрперестройки, так и полуперестройки являются группы из правящей партии. А как к перестройке относится российская общественность?

Российская общественность обеспокоена положением в стране. Все говорят о пропасти, которую нельзя перепрыгнуть в два прыжка. Но перепрыгнуть которую необходимо, потому что другого пути нет, а разум и дух зовут к

спасению российского общества и российской государственности.

Социолог И. Кон: "Некоторые считают, что разумнее было бы двигаться постепенно, по этапам: сначала укрепить экономику, а уже потом расширять демократию и гласность. Но одно без другого, увы, просто невозможно. Нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка"*.

Экономист Г. Попов: "...Б. Ельцин пытался достичь цели в один-два прыжка, оставляя позади объективную реальность в виде множества серьезнейших проблем, требующих поэтапного решения и многотрудной повседневной работы... Ждать завершения перестройки нельзя. Нужно действовать. И действовать каждому"**.

Публицист А. Стреляный: "Невозможно так дальше жить. Нужна демократия. Известный экономист прислал письмо, пишет, что история нам не простит, если мы не преодолеем современное состояние одним прыжком. В два прыжка через пропасть не перескочишь"***.

Но прежде, чем прыгать, считаем мы, следовало бы задуматься: с какой скалы необходимо прыгать, чтобы преодолеть пропасть, и на какую иную?

С какой - ясно. Скала эта имеет название марксизм-ленинизм - тоталитарная система.

---

* И. Кон. Трудности общественного самосознания. "Московские новости", № 26, 28.6.1987, с. 12.

** Г. Попов, цит. источник, с. 4.

*** Дискуссия в МГУ, цит. источник, с. 15.

Речь идет об идеологии и о политической системе. Эта первая скала обрушивается на наших глазах, и грозит похоронить под обломками множество людей. Возникает глобальный вопрос: на какую скалу прыгать?

И решение здесь подсказывают сами представители российской общественности: Заславская, Осипов, Попов, Кон, Стреляный и другие. Они ведут речь о том, чтобы создаваемые человеком экономические, социальные, политические и идеологические системы учитывали потребности самого человека, его интересы, способствовали бы проявлению человеческой индивидуальности и творческих задатков. Всего этого не может дать идеология марксизма-ленинизма (на деле она давно уже подменена пропагандой, тиражирующей уже принятое). Не может дать ни сталинский, ни ленинский тоталитаризм.

Оптимальная стратегия перестройки лежит в осуществлении комплексного преобразования не только системы экономических отношений, но и социальных, и политических. Поэтому так необходимо отказаться от идеологии марксизма-ленинизма. Необходимо переделать нынешнюю политическую систему России.

"Вторая скала" - это демократическое общество, которое граждане России должны уже сегодня строить из нового материала.

Собственно, они и строят его сегодня. В процессе становления инакомыслия и разномыслия расширялся диапазон внутренне освободившихся от влияния КПСС групп инакодействующих - от религиозных общин и национальных общностей до профессиональных ассоциаций и неформальных молодежных объединений. Не все они несут идейную или политическую нагруз-

ку, но видны среди них и конструктивные начала. И, прежде всего, патриотизм: признание ответственности за свое духовное наследие. Или же – взгляд на свою профессию как на гражданское служение. Главное – видение новой России, где рациональное подчинено духовному, где человек опекает природу, где наследие предков и их культура – источники национального бытия, где на место власти черствого бюрократа приходит соборное обсуждение, при котором власть уже ответственна перед народом за свои поступки, где образ политического комиссара, разрушающего Россию, меняется на полузабытый образ земского деятеля, строившего ее.

Если раньше оппозиционные силы стояли вне системы, то сегодня конструктивные силы с патриотическим мироощущением, несовместимым с ленинским тоталитаризмом, находятся как вовне, так и внутри системы власти. Именно обе эти силы – источник идей и инициативы. Они оказывают влияние на общество, открывая перспективы становления независимых общественно-политических сил. Правящая партия, ввиду сложности стоявших перед нею задач, была вынуждена вобрать в себя внутренне чуждые ей интеллектуальные силы: хозяйственников, военную, техническую, научную, художественную интеллигенцию. Таким образом, произошло "раздвоение партии", так как эти люди не могут быть только послушными функционерами. Это новый средний класс будущей России. Не считаться с ним Горбачев не может. Но это не значит, что правящий слой готов отдать ему власть. Это означает, что сохранить власть КПСС может, лишь сложив оружие

перед национальными задачами страны. А задачи следующие: идти на сближение с Западом; с помощью научно-технической революции создать современное мощное народное хозяйство; поднять жизненный уровень населения.

Конечно, Горбачев и его партия видят цель перестройки лишь в изменениях, которые произойдут в рамках системы и позволят продлить ее существование. Но реформы способствуют и объективным социальным процессам, которые "сильнее партии" и у которых своя логика развития. Расширение рамок перестройки ставит под вопрос тотальные претензии партии, раздваивает правящий слой, делает возможным коренные изменения строя.

Видны два пути демонтажа тоталитаризма. Первый: партия, устранив в своей среде идеологически закостенелые элементы, сама возглавит процесс реформ, в результате которого она в конце концов перестанет быть единственной партией. Второй: партия, в очередной раз продемонстрировав свою неспособность к реформам, окончательно себя дискредитирует. Тогда не будут исключены и самые резкие варианты - в том числе военный переворот и массовые выступления. Одним словом, и ленинский тоталитаризм станет настолько тяжким для гражданского общества России, что и его необходимо будет сбросить решительно и открыто.

Начавшееся раскрепощение мысли необратимо. В наследии ленинского тоталитаризма новых идей нет: их не могут заменить противоречивые ленинские цитаты, даже умело выдернутые из его томов. Новые идеи гражданскому обществу может дать развитие нового мышле- ния, созревающего вне рамок тоталита-

ризма. Эти перспективы позволят показать реальные альтернативы к политике КПСС, привлечь внимание общества к новым идеям, повести к действию (к которому призывают Стеляный, Попов, Друцэ) для того, чтобы перемены не застряли на горбачевских полумерах.

Одна из конструктивных сил российской общественности предложила путь к будущей России. Этот путь изложен в "Политических основах Народно-Трудового Союза российских солидаристов"*.

В основе демократического устройства общества лежит отказ от попытки построить при помощи государства рай на земле. Задача - избежать ада, оградить сограждан от конкретного зла. Общество должно стремиться к тому, чтобы, разрешая конфликты, выявлять общие для сторон ценности, соподчинять им столкнувшиеся интересы. Содержание жизни общества - в служении людей свободно избранным ими ценностям. Во многих областях служение осуществляется с помощью добровольных объединений, от семьи и клуба до предприятия и партии.

А основной зависимостью между государством и обществом должно служить не подчинение, а согласование. Задача государства - не командовать обществом, а служить ему. Такое ограничение власти смягчает проблему бюрократии, способствует развитию внегосударственных общественных организаций.

---

* "Путь к будущей России". Политические основы Народно-Трудового Союза (российских солидаристов). "Посев" № 2, 1988.

Этот замысел общества и государства назван солидаристическим, чтобы отойти от крайностей как индивидуализма, так и коллективизма. Речь идет не о возврате к капитализму, а о движении вперед по направлению, наблюдаемому в самых развитых странах мира. Это учение, имеющее зрелую традицию и на Западе, и на Востоке, может стать новым политическим синтезом на почве коренных идеалов России.

Предлагаемый путь – демократический. Россия должна стать демократической страной, демократической без прилагательных: обусловленная демократия ("народная", "социалистическая") уже не демократия. Демократия – это народоправство. Это руководство, ответственное перед народом, управление с согласия управляемых.

Благие намерения еще не все. Ими, как говорится, вымощена дорога в ад. Важно создать учреждения, обеспечивающие воплощение свободы, справедливости и солидарности. Вот почему предложены пять главных направлений, которые в основном гарантируют реальную перестройку системы:

1. Множественность источников инициативы в обществе.

2. Договорные, а не директивные цены в народном хозяйстве.

3. Рассредоточение власти и независимость контрольных органов.

4. Отказ от построения мирового социализма.

5. Автономия духовных и нравственных ценностей.

Солидарность преобладает в сообществах,

которые находятся в равновесии. Там, где господствуют договорные отношения, а не подавление одних другими. А личность, о проблеме которой ведутся сейчас споры в СССР, получает предельное творческое раскрытие лишь тогда, когда ей приходится принимать ответственные решения, а не жить по указке государства.

Таков третий путь – программа перестройки, ведущая к переделке основ российского общества и государства. С нашей точки зрения, этот проект в конечном итоге имеет шанс победить. Безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что демонтаж тоталитарного наследия "социализма в одной стране", и спуск, поначалу к авторитарному управлению, а потом уже к демократии, может и не быть быстрым. Периоды изменений могут сменяться реакцией: за приливом может следовать отлив (эта тенденция ощущается уже сегодня). Но отчетливо одно: общепризнанные задачи хозяйственного, научно-технического, нравственного и культурного подъема объективно неосуществимы в пределах сложившейся в СССР политической системы. Обеспечить реализацию кардинальных реформ, жизненно необходимых России, может лишь создание новых политических институтов, а не согласие или несогласие нынешних руководителей страны, в том числе и Горбачева...

Поворот к контрперестройке маловероятен. Восстановление сталинского тоталитаризма с его чрезвычайным управлением пусть даже в усеченном виде нереально. Ситуация в стране не дает оснований к этому. А искусственный нажим с целью получить поддержку масс для реставрации сталинизма просто не пройдет.

Маловероятен и второй путь. Не считаем, что общественный процесс закончится на этапе горбачевской "полуперестройки", завершится мнимой перестройкой, созданием модели ленинского тоталитаризма. Нельзя же бесконечно испытывать на прочность и без того настороженную веру народа в коренные изменения. А если ускорения не будет, то ситуация в стране может стать взрывоопасной. Следовательно, и попытки достичь ускорения в разрешении миллиона проблем, в которых кровно заинтересованы все семьдесят социальных слоев России, посредством мнимой реформы – "полуперестройки" обречены на поражение.

Истина, – писал Лев Николаевич Толстой, – получившая словесное выражение, становится непобедимой...

С. ГАВРИЛЮК
(Польша)

Польская православная Церковь в наши дни

...Начало Первой мировой войны вызвало выезд с территории тогдашних Привислинского и Северозападного краев в глубь России большинства духовенства и значительной части верующих. На этой территории осталось лишь два епископа – Тихон (Виленский), впоследствии патриарх Московский и всея Руси, и Дионисий (Кшеменецкий), будущий митрополит Варшавский. Война разрушила прежнюю организованность Православной Церкви на землях, которые по Рижскому мирному договору (18.3.1921) вошли в состав возрожденного польского государства. Православие было вероисповеданием коренного населения этих земель, украинцев и белорусов, которые составляли значительную часть граждан II Речи Посполитой. В межвоенный период на территории Польши жило (по различным данным) от 3-х до 4,2 миллиона православных.

Сложившаяся тяжелая и сложная обстановка заставила патриарха Тихона дать Православной Церкви в Польше широкую автономию с целью постепенного перехода к автокефалии. Управление Церковью было поручено патриархом Собору епископов. Звание "Патриаршего Экзарха Пра-

вославной Церкви в Польше" декретом № 1424 от 15/28.9.1921 получил бывший архиепископ Минско-Туровский Георгий (Ярошевский). Он принял Варшавскую и Холмскую епархии, а его предшественник, епископ Владимир (Тихоницкий), получил Гродненскую епархию.

В годы 1918–1923 Церковь, насчитывавшая более 3-х миллионов верующих, находилась под юрисдикцией Московской патриархии. В ее состав входили епархии Варшавская и Холмская- архиепископ Георгий (Ярошевский), Пинско-Новгородская – еп. Пантелеймон (Рожновский), Виленская – еп. Елевферий (Богоявленский), Волынская – еп. Кшеменецкий Дионисий (Валедынский), Гродненская – еп. Белостоцкий Владимир (Тихоницкий).

Польские власти с момента провозглашения независимости (1918) повели систематические дискриминационные действия (в сравнении с действительностью это определение чересчур мягкое) по отношению к Православной Церкви. Между 1918 и 1920 гг. у православных было отнято около 400 храмов, а дальнейшая интенсификация этой политики в 1923–1929 гг. привела к сокращению количества приходов с 2.000 до 303. На основании закона от 17.12.1920 государство национализировало большую часть церковной собственности, в частности, около 12 тысяч гектаров земли (монастырь в Зимном около Владимира, Почаевская Лавра, Мелецкое духовное училище в Мацееве и т. д.). Этот закон в значительной степени нарушил положение владений Православной Церкви.

В январе 1922 года еп. Георгий был назначен патриархом Тихоном на должность митрополита. 30.1.1922 польское правительство приняло

"Временные правила по отношению правительства к Православной Церкви в Польше". Этот односторонний насильственный акт игнорировал постановление патриарха и ставил Церковь в зависимость от государственной власти. "Временные правила..." одобрили только лишь митр. Георгий и еп. Дионисий. Еп. Елевферий (высказавшийся против акта) был недопущен под предлогом, что он иностранный гражданин, а епископы Пантелеймон и Владимир не расписались под ним, объяснив, что правила эти игнорируют решения патриарха, нарушают ряд канонических правил и отдают Церковь в унизительную зависимость от государства. Результатом этого было удаление еп. Пантелеймона в Мелецкий монастырь. На его место был хиротонисан, хотя и не канонически, архим. Александр (Иноземцев), со званием епископа Люблянского.

Собравшийся в мае 1922 года в Почаеве собор должен был объявить автокефалию, но в результате протеста еп. Елевферия и Владимира (Пантелеймон был тогда интернирован в монастыре) такое решение принято не было.

Несмотря на протест вышеупомянутых епископов, в состав епископата был включен новорукоположенный еп. Александр. Собор епископов, заседавший в Варшаве 14/15.6.1922, большинством голосов (митр. Георгий, еп. Дионисий и еп. Александр – "за" и епископы Елевферий и Владимир – "против") принял решение об объявлении автокефалии.

22.9.1922 Собор лишил епископов Елевферия и Владимира кафедр. В декабре 1922 г. еп. Елевферий был арестован и посажен в тюрьму (усиленного режима), находившуюся в монастыре

Отцов Камедулов около Кракова, откуда весной 1923 года был вывезен в Ковно. Еп. Владимир был водворен в монастырь в Дерманю, а два года спустя вывезен в Чехословакию.

Против автокефалии высказалось подавляющее большинство верующих и низшего духовенства (в частности, епархиальные съезды – варшавский, почаевский, виленский, гродненский).

В феврале 1923 г. от руки архим. Смарагда (Лютышенко, бывшего ректора Холмской духовной семинарии) гибнет митр. Георгий, которого тот обвинял в ответственности за собственную свою судьбу и за положение, в котором оказалась Церковь с 1922 г. Новым митрополитом избирается арх. Волынский Дионисий (Валедынский), который вопреки желанию большинства верующих и духовенства продолжает усилия своего предшественника по получению автокефалии Православной Церкви в Польше.

С другой стороны, польское правительство с той же целью все время самостоятельно вело переговоры с Константинопольской патриархией. Автокефалия Польской Православной Церкви была дарована 13.11.1924 патриархом Григорием VII, а официальное ее провозглашение состоялось 17.9.1925. В течение 20 лет автокефалия Польской Православной Церкви была признана всеми патриархатами, кроме Московского.

Автокефалия не привела к уменьшению зависимости Православной Церкви от государства. Причиной тому было отсутствие юридически упорядоченных отношений между государством и Православной Церковью. Юридическое положение Церкви было урегулировано лишь в конце 1938 г. декретом президента об отношениях

между государством и Польской Автокефальной Православной Церковью, изданным в ноябре, и указом Совета министров о признании Устава Польской Автокефальной Православной Церкви от декабря 1938 года. В действительности, эти акты ставили ПАПЦ в зависимость от государственной власти. Примеры: у учреждения, надзирающего за вероисповеданиями, было право вмешиваться в церковные дела в 44-х случаях (большинство статей декрета), все церковные назначения (кроме поста церковного сторожа) должны были происходить с согласия власти. Стоит отдельно обратить внимание на следующие статьи: 39-ю - касающуюся обязанности митрополита предварительно оповещать власти о своем намерении провести инспекцию приходов; 40-ю - ограничивающую право епископа рукополагать кандидатов в духовный сан и создающую затруднения кандидатам, окончившим старые духовные семинарии; 46-ю - ограничивающую права церковных властей принимать кандидатов в духовный сан.

Столь строгих правил, как тех, что содержались в декрете от 18.11.1938 не было ни в одном из актов, регулирующих отношения между государством и другими вероисповеданиями (не говоря уже о Римо-католической Церкви).

Автокефалия была строго осуждена православной историографией. Она расторгала связь с московским патриархатом, ее также считали очередным шагом на пути к полонизации белорусско-украинского меньшинства (введение польского языка в богослужениях, культивирование польских народных традиций в Православной Церкви и т. д.).

Полонизация Церкви на восточной территории II Речи Посполитой должна была привести в религиозном плане – к неоунии, а в национальном – к полонизации православной среды (белорусской и украинской). Претворением этих принципов в жизнь было назначение на вакантные православные приходы униатского или римо-католического духовенства, закрытие православных семинарий, подкуп служащих варшавской митрополии, закрытие, конфискация и разрушение церквей.

В 1938 году только на Холмщине и в Подлесье было разрушено более 120 церквей (в том числе в Щебжешине церковь 1184 г., в Корнице 1578 г., собор в Белой-Подлесской 1582 г., в Замосте церковь 1589 г., а также две церкви XVI века в Ярославце и Модрыне). Около 150 церквей было отнято и превращено в римо-католические костёлы, остальные были разрушены или сожжены. Из 389 церквей, существовавших в 1914 г., к осени 1939 г. оставалась лишь 51. Местное православное население должно было к тому же нести расходы по разрушению церквей, проводимому польскими рабочими, охраняемыми милицией. Многих духовных лиц, совершавших богослужения и требы, преследовали (штрафы, аресты). Активное участие в реализации государственной политики принимала и большую поддержку ей оказывала римо-католическая Церковь.

Во время немецкой оккупации (2-ая мировая война) на территории так называемой "Центральной Губернии" существовало три епархии – Варшавская, Холмская и Краковская. Православные, находившиеся на территории, занятой Советским Союзом в 1939-41 гг., вошли в со-

став Минской епархии. С 1941 г. на белорусских и украинских землях образовались местные организации Православной Церкви национального характера.

В 1948 г. патриарх Московский благословил на автокефалию Православную Церковь в Польше. В том же году состоялся первый Собор епископов, в котором принимали участие епископы – Тимофей (Шреттер), Григорий (Коренистов), а также Михаил (Кедров), бывший игумен монастыря св. Онуфрия в Яблочине. По просьбе Церкви в Польше Московский патриархат делегировал архиепископа Львовского Макария, который после приезда в 1951 г. был избран первым митрополитом Польской Автокефальной Православной Церкви.

В 1949 г. из 121 прихода было создано 3 епархии – Варшавская (с 1945 г.), Белостоцко-Гданская и Лодзенско-Вроцлавская. В 1955 г. (по переселении украинского населения на запад и на север) организационная структура изменилась и епархий стало 4: Варшавско-Бельская, Белостоцко-Гданская, Лодзенско-Познанская и Вроцлавско-Щецинская.

В 1984 г. после более 300 лет восстановлена Перемышльская епископская кафедра в виде Перемышльско-Новосондецкой епархии, епископ которой находится в г. Саноке.

После 2-ой мировой войны состоялись следующие хиротонии епископов:

1952 – Стефан + (Рудак), впоследствии митрополит.

1960 – Василий (Дорошкевич), нынешний митрополит.

1965 – Никанор + (Неслуховский), бывший архиеп. Белостоцкий и Гданский.

1970 – Алексей + (Ярошук), бывший еп. Вроцлавский и Щецинский.

1979 – Савва (Хрыцуняк), нынешний архиеп. Белостоцкий и Гданский.

1979 – Симон (Романьчук), нынешний еп. Лодзенский и Познанский.

1983 – Еремия (Анхимюк), нынешний еп. Вроцлавский и Щецинский.

1983 – Адам (Дубец), нынешний еп. Перемышльско-Новосондецкий.

Сегодня ПАПЦ насчитывает 5 епископов, около 230 священников, 200 приходов и 30 отделений приходов, более 300 церквей и часовен, около 20 строящихся церквей.

Кроме того, существует два монастыря: мужской, св. Онуфрия в Яблочине над рекой Буг, никогда не принявший унии (самый большой праздник которого в июне (12.6 по н.с.), в день преп. Онуфрия Великого), и женский, св. Марфы и Марии в Грабарке (с 1949 г.) – здесь престольный праздник в дни Преображения Господня 19/6 августа собирает десятки тысяч верующих со всей Польши. В каждом монастыре около 10 монахов и монахинь. С 1983 г. возрождена монашеская жизнь в Супрасле, где с конца XV века находилась Супрасльская лавра. Здесь теперь восстанавливается Благовещенский собор, построенный в 1503–1510 гг. и взорванный немцами в 1944 г. В лавре теперь 4 монаха.

Православных в Польше сегодня 500–600 тысяч.

Семинарии

1. Духовная семинария (с 1951 года), первые 4 класса в Варшаве, 2 последних – в Яблочине.

2. Православное отделение в Христианской Богословской Академии в Варшаве (с 1957 года), где обучаются также лютеране и старокатолики. Академия обладает всеми гражданскими правами.

Издательская деятельность

1. Центральная:

- Церковный Вестник, на русском языке. Некоторые статьи на польском, украинском и белорусском языках. Ежемесячник, выходит с 1953 г.

- Ведомости П.А.П.Ц. выходят с 1971 г. по-квартально на польском.

- Церковный календарь, на русском языке, а также на русском и польском, а до 1984 г. на украинском.

За последние годы центрально почти ничего не издавалось, и это плохо, потому что Митрополия обладает собственной печатной базой.

2. Епархиальная:

- Вроцлавско-Щецинская епархия: небольшой бюллетень "Голос надежды" выходит с 1987 г.

- Белостоцко-Гданская начинает за последнее время кое-что печатать: в 1985 г. выпустили I часть, Ветхий и Новый завет, книгу для изучения Закона Божия, в 1986 - "Как мы веруем" архиеп. Павла, в 1987 г. - II часть Закона Божия - Богослужение.

- Перемышльско-Новосондецкая - с 1985 года выпускается Церковный календарь на украинском языке.

Кроме этого, один из приходов в Бельске-Подлесском издает "Лампаду" – журнал для детей, а также перепечатывает много религиозной литературы, как "Жития святых", "Часослов", "Богогласник", "Молитвослов для детей", и т. д. Этот приход Архистратига Михаила (настоятель о. Леонтий Тофилук, один из самых активных священников не только в епархии Варшавско-Бельской, но и во всей нашей Церкви) организует лагеря для детей, последние два года устраивает лагеря для иконописцев.

Журнал "Тыгодник Подлесский" – ежемесячное издание, но не церковное, а Христианского Общественного Объединения. Его издает отделение этого Объединения в Белостоке. Это – почти римо-католическая организация, но в Белостоке – православное отделение (хотя есть и римокатолики), в Олштыне – лютеранское. Не было другой возможности, чтобы издавать журнал о Православии – таковы условия.

Молодежная работа

1. Центральная:

– С 1982 года действует Братство Православной Молодежи, официальное название – Кружок Православных Богословов. Осенью каждого года происходит Генеральное собрание, в котором принимают участие представители приходской молодежи. Весной, в мае – молодежное паломничество на св. Гору Грабарку. Каждые два года – выборы председателя и правления. Издание – "Информационный бюллетень", выходящий квартально. Каждый год, ле-

том, организуется более 10 лагерей для молодежи.

2. Епархиальные отделения Братства Православной Молодежи:

- Вроцлавско-Щецинское с 1984 г.
- Белостоцко-Гданьское с 1985 г.
- Варшавско-Бельское с 1986 г.

Они тоже организуют лагеря для детей, молодежи, а также зимние молодежные лагеря. К примеру, в Белостоцко-Гданьской епархии в этом году было проведено два молодежных лагеря, один лагерь для псаломщиков и три для детей. Руководит этим молодежь, всегда есть студент из Академии или семинарист. Лагеря устраиваются при приходах, так что всегда есть и священник.

Еще о Белостоцко-Гданьской епархии:

- Каждое первое воскресенье октября проводится молодежный епархиальный съезд.
- Осенью-зимой происходят встречи представителей епархиального молодежного правления с представителями приходской молодежи.
- На Новый Год по старому стилю устраивается бал для молодежи.
- Во время зимних каникул проводится, на неделю, 2-3 лагеря.
- Во время Великого Поста - говение молодежи.
- В мае - участие молодежи в празднике св. муч. младенца Гавриила Заблудского в селе Заблудово (3 мая).
- Летом - лагеря для молодежи и детей.
- В августе - паломничество пешком на Св. Гору Грабарку.

Все эти мероприятия в значительной степени

организуются молодежью. Кроме того издаются праздничные открытки, значки к различным юбилеям, паломничествам, сборники с церковными и народными песнями, песенники для детей и т. д.

Задачи и цели Братства: Братство – организация как бы церковная, находится внутри Церкви. На первом месте у него служение Церкви, оказание помощи. Кроме того, формирование сознания православного христианина, пробуждение и углубление интереса к богословским вопросам, изучение истории Св. Православия. Затем деятельность приходская, установление контактов между молодежью разных приходов, и т. д. Главная задача – собирать молодежь вокруг Церкви.

*

В заключение поделимся и некоторыми стоящими перед нашей Церковью проблемами, от которых – не уйти.

Взаимоотношения с властью, кажется, сейчас неплохие, но они, конечно, никогда не будут такими же, как между властью и римо-католической Церковью – это все понимают. Но разрешается строить храмы, приходские дома, разрешена издательская деятельность, нет препятствий для проведения ёлок для детей, сессий на церковные темы, выступлений наших хоров в клубах, в кино или в филармониях (несогласие здесь скорее может возникнуть с чьей-то личной стороны). Если кто-то из семьи учится в Академии, его в армию уже не призывают. Однако бывают и помехи: так, в течение двух лет не давалось разрешения на проведение па-

ломничества на св. Гору Грабарку; три года назад не было дано разрешения на постройку дома отдыха для молодежи – власти не согласились обменять земельный участок, который нам подходил, на церковную землю. На церковной земле строить, однако, можно.

Отношения с католиками. Здесь, конечно, огромное влияние оказывает история – от Брестской унии и периода, который после нее начался, через межвоенный период, когда разрушали и сжигали православные церкви, послевоенный период, когда сжигали православные деревни, и до периода возникновения свободного профсоюза "Солидарность". Можно сказать, что в центральной Польше, на западе и на севере – отношение лучше, чем на востоке – в Перемышльско-Новосондецкой епархии.

Официально происходят редкие экуменические встречи, но здесь, на Белосточине и вообще на востоке, они нам не нужны – их понимание экуменизма мы все знаем. Отношения между людьми – как кто. Есть хорошие, есть плохие. Зависит от людей.

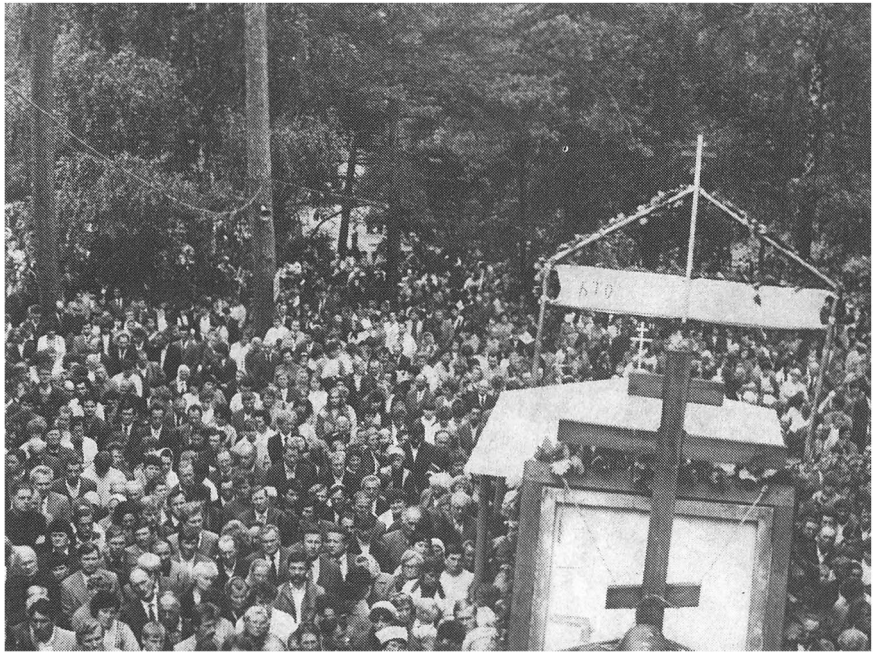
Материальное положение духовенства, кажется, неплохое, особенно в епархии Белостоцко-Гданьской и Варшавско-Бельской. Вообще же, можно сказать, оно лучше, естественно, в больших приходах, чем в маленьких. За ведение занятий по Закону Божьему государство платит деньги. Если кто (как, например, в Белостоке) служит духовником в больнице или в ином месте, он тоже получает за это от государства деньги. Священник в очень маленьком приходе получает помощь от епархии. Вообще, можно сказать – положение неплохое.

Положение Церкви – другое дело. Храмы и другие здания строятся на пожертвования прихожан и вообще верующих. На юге помогают лемки и украинцы из США и Канады. Во многих местах это зависит от епископа.

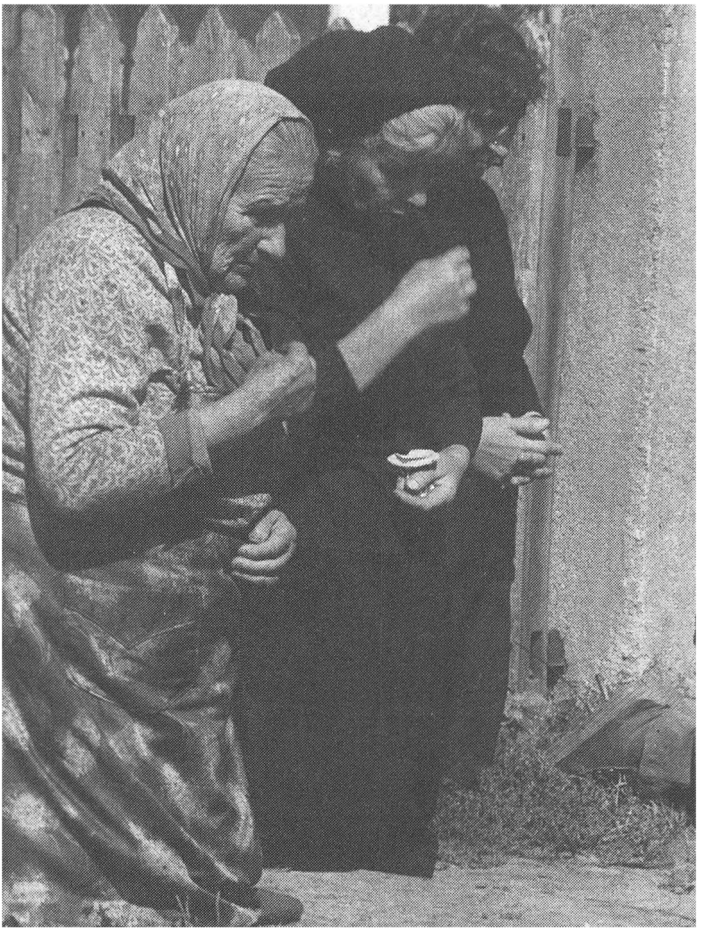
Нужно отметить не очень высокий уровень части священников – это вызвано низким уровнем преподавания в Семинарии, – правда, не только этим.

Варшава – как центр – почти не ведет никакой издательской деятельности, а жаль, возможности есть. Из-за этого – нехватка религиозной литературы, иконок.

Но Церковь наша – живет, хотя для ее уничтожения было сделано почти все, что возможно. Наблюдается даже постепенное возвращение униатов к Православию. И хочется, чтобы в этом юбилейном году 1000-летия Крещения Руси, православные в России и во всем мире больше о нас узнали и помогли бы нам своими молитвами.



Литургия на Горе Грабарке в день Преображения Господня (1987). Присутствует более 3000 человек.



Деревня Заблудово. При проходе паломников на Гору Грабарку

Храм Пресвятой Троицы в Гайновке, Бельско-Варшавской епархии. Воздвигнут в 1982 г.

Христина МАМАЙКО,
Александр НАУМОВ
(Польша)

Русские фрески как пример византийской живописи на польских землях

Вскоре после кончины галицко-волынского князя Болеслава Георгия II в апреле 1340 г. король польский Казимир Великий вступил на русскую землю, занимая поочередно Перемышль, Санок, Львов и Галич. С этого момента в состав Короны Польской вошли – и со временем их стало больше – коренные русские земли с населением православного вероисповедания. Таким образом, творения византийско-славянского религиозного искусства на территории Польского королевства появились не случайно, в результате брачных связей, грабежей или даров, но стали составной частью культуры польского государства.

Однако официальное отношение к этой части культуры было отрицательным. В основе польской политики, естественно, лежало стремление к колонизации и окатоличиванию русских земель. В области культуры это означало враждебное отношение к искусству, церковно-славянскому языку, а также латинизацию и ополячение для осуществления обещания, данного во Львове Казимиром Великим: "в прежней вере никто, никогда и ничего не будет творить".

Для нормального развития местной восточной церкви и ее культуры необходимо покровительство государства. Особенно ярко эта истина подтверждается минувшими временами. Характерной же чертой польского Православия была, от самого начала, необходимость защищаться от прозелитизма государей, духовенства и значительной части мирян римско-католического вероисповедания. Положение Православия на территории Великого княжества Литовского было решительно иным. Хотя там Православие и зависело от католической политики, но это была в основном православная страна, управляемая иноверцами, сознающими, что лишь Православие обеспечивает княжеству его отличие и независимый характер. Очередное присоединение русских земель к Польскому королевству за счет Литовского княжества, укрепление связей между Польшей и Литвой вплоть до фактической унии (1569) и полного устранения государственно-юридических различий (1791), а также заманивание привилегиями аристократии из русских земель в католичество, переменили культурную карту этой территории.

Вне зависимости от отношений Польского королевства к русской культуре нельзя рассматривать особую политику Мазовши, долгое время не входившей в состав короны и тесно связанной с землями русского Подляшья. В одном из документов говорится, что построенный Конрадом Мазовецким в первой половине XIII века костел, посвященный Пресвятой Троице, в Блони, был украшен росписью в византийском стиле. Доказано также присутствие русских художников в Силезии, так как на

известном вроцлавском диптихе Яксы сохранилось написанное кириллицей имя княжны Агафии.

В результате польско-католического наступления, нацеленного на Восток, и непостоянства политических границ, трудно конкретно определить термин "польские земли" и "польское искусство". Если глубже взглянуть в прошлое пограничных земель и на столкновение двух культур христианского мира, легко понять, почему здесь слились национальные и конфессиональные факторы и почему сложившиеся при этом традиции преодолеваются по сей день с трудом и неохотно.

Неужто иконы из Санока, Ланьцута и Перемышля, замечательные, недавно обнаруженные фрески в Риботицком Посаде, православные церковно-славянские рукописи из монастырей и церквей былых воеводств - русского, бельского и земли холмской - более "польские", и значит менее "русские", потому что они произошли из включенных позже в состав Польского королевства воеводств Волынского, Подольского и Подляшского? Разве Днепр разделяет православное искусство XIII века на части? Неужели Супрасльские фрески из Подляшья, находящиеся в Польше, не принадлежат православной славянщине? Какую границу нужно уважать, и разве можно государственными границами определять характер искусств?

Ставя перед собой эти вопросы, мы все ближе подходим к основной нашей теме: фрескам фундации Владислава II Ягелло и его сына Казимира Ягеллонского конца XIV и начала XV веков. Здесь дело выглядит просто. Волею правящего короля в коренных польских

землях и в важнейших центрах государственной и религиозной жизни стены и своды западноевропейских зданий были расписаны в византийско-русском стиле.

Самая большая заслуга в деле исследования наличия византийско-славянского искусства на территории Польши принадлежит профессору Ягеллонского Университета Анне Ружицкой-Бризэк, автору работ, давших добросовестную оценку прежним исследованиям и всесторонний стилистический, иконографический, исторический и религиоведческий анализ сохранившихся памятников, а за последнее время сделавшей также попытку восстановления не сохранившейся или дошедшей до нас лишь частично иконографической программы фундации. Дальше мы, в сущности, подведем итоги работы, рассматривающей фрески Ягеллы на фоне византийско-русско-балканской традиции, лишь при нехватке сравнительного материала прибегая к западноевропейскому средневековью.

По приказу Ягеллы в "греческом стиле" было расписано восемь помещений, из которых сохранилось три. Четвертая сохранившаяся роспись пожертвована Казимиром Ягеллонским.

Первой была расписана в 1393-94 гг. алтарная часть костела Св. Троицы и Св. Креста в бенедиктинском монастыре на Лысой Горе, сохранявшим в какой-то степени славянские традиции. Работы производил некто Владич, Владыка, с другими русскими помощниками из Красной или Белой Руси. Если сопоставить имя главного художника, известное из королевских счетных книг, с кварталом города, оно указывает на Перемышль. Эта роспись была уничтожена пожаром в 1777 году.

Те же иконописцы расписали в 1394 г. в Кракове (а может быть, также в Неполомицах) королевскую спальню. Предполагается, что изукрашена она была не только орнаментальными, но и фигурными композициями. Единственное указание на этот факт сохранилось в счетной книге. Все это убедительно подтверждает положительное отношение Ягеллы к русскому искусству.

Жалованная грамота 1426 г., предоставляющая доходы Перемышльской Рождественской церкви некоему Хайлю за труды в пользу короля на сандомирских, краковских и серадских землях также содержит информацию о византийско-славянских иконописцах.

Время не донесло до нас воспоминаний о росписи Гнезненского собора. Из летописи Длугоша, подтвержденной в 1649 г. Стефаном Домалевичем, известно сходство этой росписи с русской и московской живописью. Наличие на архиепископской кафедре "греческих" священных изображений придало им, как утверждает проф. Ружицкая-Брызэк, "официальный статус, выходящий за пределы личного покровительства короля" (1987).

Благодаря Длугошу известно также о греческой росписи Мариацкой часовни, носящей имя "Отцов Миссионеров", в Вавельском соборе, где в 1420 г. была похоронена третья жена Ягеллы – Елизавета. Эта часовня, построенная в XIV в. (1331 или 1382-92), была в конце XVI или в XVII веке основательно перестроена и заново расписана. Лишь в 1950 г. во время реставрационных работ были найдены следы русской живописи и, в частности, изображения свв. Гервасия и Протасия. В результате

иконографического и стилистического анализа проф. Ружицкая-Брызэк констатирует, что существует сходство между живописью часовни Мариацкой и частями росписи в Вислице и Люблине, указывающее на перемышльско-львовское происхождение художника.

Четвертая жена Ягеллы, София - Сонька Гольшанская, заставленная вторично креститься по римо-католическому обряду, в канун брака в 1422 г., построила при Вавельском соборе, с северной его стороны, у входа, часовню в честь Пресвятой Троицы, предназна-чая ей быть своей гробницей. Внутренность часовни была покрыта росписью еще при визите канцлера, епископа краковского Иакова Задика в 1635 г., велевшего сохранить роспись ягеллонских часовен на Вавеле из-за их древности.

При военных действиях в 1915 г. отвалилась штукатурка алтаря вислицкой коллегиаты и обнаружилась часть росписи 1413-1461 гг., закрашенной в начале XVII века, о чем с грустью говорил упомянутый епископ Иаков Задик в 1637 г. Между 1899 и 1922 были постепенно обнаружены фрески в костеле Пресвятой Троицы в Люблинском замке, написанные группой иконописцев, возглавленной Андреем (1418). В 1891 г. были вскрыты фрески алтаря Сандомирского собора 1430 года. Эти три памятника - Вислица, Люблин и Сандомир, а также Свято-Крестовская часовня Казимира Ягеллонского (1471) составляют ныне ансамбль памятников русского происхождения на коренных польских землях. Об этом искусстве Петр из Розпржи писал в 1532 г., что оно является оплотом духовно-религиозных ценностей в противовес живописи эпохи Возрождения, при-

несшей слишком много мирских и реалистических элементов. Однако вкус наступившей эпохи возобладал, и в XVII веке большинство византийских росписей было уничтожено навсегда, либо скрыто под слоем штукатурки или белил. Изображения в часовне Пресвятой Троицы были просто ликвидированы в начале XIX века во время ее перестройки в классический мавзолей. Просто не верится, что сохранилась еще Казимировская роспись у южного входа в часовню Пресвятой Троицы, в которой в 1492 г. был похоронен король Казимир, а в 1505 г. его жена – Елизавета Ракушанка. Именно роспись этой часовни послужила исходной точкой для исследования остальных памятников упомянутого ансамбля.

Группа фресок времен Владислава Ягеллы не представляет стилистического единообразия. Хотя число их значительно и они были написаны на видных объектах, они не привели к художественным последствиям в польском искусстве. Даже в тех костелах, где алтари были расписаны в "греческом" стиле, остальные части оставались под преобладающим влиянием Запада. Исключение составляет "Христос вседержитель" в так называемой гробнице Гинчи (1645) в Вавельском соборе и резьба "Распятие в Октоихе Швайпольта Фиоля" (1491).

Деятельность восточных иконописцев не была постоянной. Они каждый раз прибывали из различных уголков России, и исполнение живописи иногда даже разнилось на одном и том же месте. В самом Люблине, помимо общего влияния стиля Палеологов, можно выделить три разные манеры – иерархическую в верхних частях, расписанных художником Кириллом,

образную – художника Андрея в средних частях и провинциально-архаическую третьего художника – в нижней части, имеющей сходство с росписью в Вислице и в Мариацкой часовне на Вавеле. Ни одна из этих манер не гармонирует с изображением Тайной Вечери, отличным от византийской традиции.

Два первых художника прибыли в Польшу откуда-то из Новгорода или Твери и объединились с галицко-волынским иконописцем.

Изображения в Вислице и в Сандомире указывают на связь со школами центральной и юго-западной Руси, а также с Балканами, и через них – архаично к византийскому искусству эпохи Комненов. Роспись Свято-Крестовской часовни близка к северно-русской псковской школе.

Этим опровергается гипотеза как о существовании отдельной, галицко-перемышльской школы (М. Валицкий, 1930), так и польской школы византийской росписи, якобы объединяющей восточные и западные элементы на службу поборников унии (Ц. Осечковская, 1932 и позже).

Не подлежит сомнению, что византийско-русская живопись является результатом личных предпочтений короля Ягеллы, склонявшегося к искусству, церковной духовности и традициям своей матери, княгини Тверской Иулиании, оставшейся православной в Ольгердовом дворце. (Кстати, первая жена Ольгерда, а также и жены других сыновей Гедимина также были православными.) Любил русское искусство, под влиянием матери, также и Казимир Ягеллонский.

Ягелло был ревностным католиком, и пользовался всяким удобным случаем, чтобы под-

черкнуть это. Так, желая похвастаться перед епископом Стржегомя - Иоанном, и великим магистром Ордена Крестоносцев Михаилом Кохмейстером, он велел в 1412 г. за один день передать Перемышльский православный собор католикам. Тем не менее, он любил русское искусство, окружал себя русскими и вызвал для них в 1390 г. в Клепаж бенедиктинцев, пользовавшихся в богослужениях церковно-славянским языком. Сам он говорил по-русски и целые месяцы проводил в Троках или в Витебске, пренебрегая делами королевства. Его вкусы не вызывали сопротивления католического духовенства, которое довольствовалось усердной набожностью короля.

Итак, византийско-русские фрески вмещаются в рамки "художественного импорта" и составляют исключительный случай переброски церковного искусства на территорию, находившуюся в орбите влияния готики, свидетельствуя о сожительстве двух культур, но не о взаимной ассимиляции форм художественного высказывания, сохранивших свое своеобразие (Ружицкая-Брызэк, 1983). Они составляют очень интересную страницу истории искусства Польского королевства, восполняющую процесс органического объединения искусства Востока и Запада на землях с православным населением. Здесь византийское искусство подверглось своеобразному влиянию Запада (ср., например, иконы XVI века), что со временем привело к общей перемене стиля на украинско-белорусско-русской территории. Но это уже другая тема.

Ирина МУРАВЬЕВА

Снятые с полок

Это наша жизнь
«Двадцать лет спустя...»

В истории советского кино был такой период, когда документальная лента объявила художественную едва ли не лишней, во всяком случае, вторичной по сравнению с теми неограниченными возможностями, которые открыты перед документальным фильмом. Во главе этого движения стоял Дзига Вертов. Его "Три песни о Ленине", увидевшие свет в 34-м году, доказали всем сомневающимся, что реальные события и невымышленные, не передающиеся в актерских трюках характеры способны обрести на экране свое второе рождение. Только небольшой - в сравнении с многомиллионным многоглазым зрителем - кружок причастных к кинематографической промышленности людей знал, какую лукавую и ловкую монтажную обработку проходит эта якобы "подлинная" жизнь, прежде чем стать той, манерной, гремящей победными маршами, белой пароходной грудью рассекающей моря, стальной громадой устремляющейся в небо жизнью, получившей название - документальная хроника.

Проходит пятьдесят лет, и режиссер Алексей Герман снимает фильм "Мой друг Иван Лапшин", вся основная сила художественности которого направлена на то, чтобы быть как можно менее "художественным" в привычном смысле слова. Он создает кадры, имитирующие ту хронику тридцатых годов, которая в свое время не получила, не могла получить право на существование. "...главным для нас, - сказал режиссер в интервью с Александром Липковым, опубликованном во втором номере "Нового мира" за 1987 год, - была не детективная интрига, не любовная история, а само то время. О нем мы и делали фильм".

Неопределенный, безликий, похожий на сотни других, деревянный русский город. Наивные американские студенты были уверены, что перед ними макет. Нет, к ужасу нашему, эти черные покосившиеся, осевшие в сырую землю дома с их полузрячими окошками, проложенными серой бумагой, - н е макет. "Один из тех, от кого зависела судьба "Лапшина", - рассказывает А. Герман, - корил меня: "Зачем ты такие бараки построил?" Мне даже неловко было возражать, что ничего я не строил для картины, и денег бы на такую декорацию не хватило, что бараки самые настоящие, что в них и сейчас живут".

Несмотря на то, что действие охватывает несколько месяцев, время года в городе не меняется. Оно застыло в сером слепом освещении, и жизнь его, погруженная в эту тусклую - осень? зиму? весну? - буднична и страшна в своих будничных подробностях. Основное своеобразие стилистики "Ивана Лапшина" и состоит, по-моему, в том, что граница между

зрителем в зале и людьми на экране как бы размыта. Перед глазами медленно течет жизнь как она есть: узкий, заваленный рухлядью коридор, железные кровати с плоскими тюфяками, выщербленная ванна с отбитой эмалью, похожий на прилипшее к стене черное животное телефон... Человек, потерявший жену, хочет покончить с собой. Он захлопывает дверь этой сырой, кривой ванной с тусклым осколком зеркала, приставляет дуло к виску... Нет, не то... К сердцу... Опять не то... Тогда он засовывает его в рот, наступает рвотный спазм, и он давится над раскисшим замоченным бельем...

Больше всего этот осевший в землю, безнадежный город напоминает мне гетто. Или лагерь. Во всяком случае это не место, где могут жить обыкновенные люди. А они живут. Но облик их изуродован и как бы подогнан к нормам этой жизни. Бесформенные, черные пальто, стоптанные сапоги, уродливые женские боты, тугие косынки, прячущие волосы... Герой фильма обнимает женщину, которая торопливо застегивает на себе что-то неопределенное, темное, с широким меховым воротником, и шепчет испуганно: "Ой, Ваня, милый, ой, осторожно, у меня воротник лезет!"

Никакого комического эффекта не имеют эти слова в общем контексте напряженной и горькой нелепости происходящего. Будничность и правдивость только набирают силу и кажется, что ты ощущаешь их, эти попавшие в рот, скользские, перенафталиненные волоски... А ушастый мальчик с неживым выражением лица, худой и бледный, в коротенькой старой курточке, так похож на сегодняшних русских детей какой-нибудь Тулы или Загорска с их пьющими

отцами и заезженными жизнью матерями, что, глядя на него, чувствуешь, как сжимается сердце. Да и другие жители города ничем не напоминают загримированных актеров. даже знаменитый "столичный - заграничный", по словам А. Германа, Андрей Миронов очень быстро теряет свою знаменитость и черты его приобретают ту же, словно потертую солью, документальную серую неопределенность и подавленность, которая характерна для всех остальных.

В действии "Ивана Лапшина" есть какая-то тягостная многозначительность, и зритель легко вылавливает ее из медленной мутной реки этой обыденной жизни.

"Я на тебя товарищу Калинину напишу", - говорит старуха-домработница с лицом алкоголички, упрекая одного из героев за то, что на него уходит слишком много сахару.

"А я тебя посажу за то, что ты мужа съела", - не теряется он.

И потом уже совсем по другому, столь же безобидному поводу тот же герой кричит: "Я ей отплачу! Я эту артистку посажу!"

Проститутка Катя Наполеон, находящаяся под следствием, наконец отправлена в лагерь. Героиня фильма Наташа спрашивает Лапшина о ее судьбе и, узнав о лагере, роняет: "В лагерь? Прекрасно..." Люди так привыкли к происходящему, что и реагируют на него, как роботы. Нет, это не просто будничность, это будничность кошмара. Выработанный навык к нему. Вообще речь и сознание героев Германа как-то уродливо механистичны, и не случайно с экрана постоянно звучат два зловещих обращения: "товарищ" и "начальник".

"Я же пошутила, начальник! Начальник, я же пошутила", – хрипло вопит заключенная проститутка.

Но ведь и не заключенные (а, может быть, по внутренней символике "Ивана Лапшина" заключенные – в с е?) постоянно прибегают к этому слову. Второе обращение не менее знаменательно.

"Товарищ!" – кричит Ханин пытающемуся улизнуть бандиту.

"Я на товарище Клаве женюсь", – настороженно сообщает Вася Окошкин.

Помните манкуртов, воинов, попавших в плен и в результате садистской пытки забывших свое имя, дом и матерей из повести Чингиза Айтматова "Буранный полустанок"? В героях "Ивана Лапшина" есть что-то от манкуртов, плосколицых, равнодушных, затравленных... Они пытаются сохранить свое живое человеческое "я", но делают это неловко, через силу, словно преодолевая какой-то невидимый, но плотный барьер. С первого и до последнего кадра они посмеиваются, пыжатся и, как говорит сам режиссер, "все время чуть-чуть дразнят друг друга, играют друг перед другом бесконечный спектакль..." Заключенные, товарищи, начальники...

Трудно, я думаю, спорить с тем, что жизнь неизбежно требует от нас какого-то осознанного или неосознанного игрового элемента, но вряд ли мы найдем другой такой период в русской истории, который по своей циничной, вызывающей, глубоко укорененной фальши мог сравниться с тридцатыми годами. Жизнь, которую засосала бурлящая воронка насилий, репрессий и всех мыслимых форм унижения чело-

веческого достоинства, словно издеваясь над самою собою, рождала мажорные мотивы и песенки, захлебнувшиеся в патриотическом сиропе фильмы Александрова, героические документальные кинохроники с полосатыми спортивными майками на бодро расправленных, налитых непонятно откуда взявшейся сытостью плечах.

В интервью с Липковым А. Герман очень просто говорит о том, что в тридцатые годы "существовал какой-то общепринятый стиль поведения перед камерой, перед журналистом, друг перед другом, наконец". В фильме этот "стиль поведения", все эти мотивчики и реплики, флажки и оркестры оборачиваются мощно разлитой по плоскости происходящего какой-то нервной и утомительной траурной праздничностью, свирепым похоронным весельем, чем-то от "Пира во время чумы"... Чаще всего звучит марш немецких коммунистов, включающий в сюжет "подводное течение" - тему томящихся в застенках и тюрьмах друзей.

Содержание "Ивана Лапшина", на мой взгляд, вообще многомерно и истолкование метафорического языка этого фильма может быть весьма широким и свободным. На первом сюжетном уровне происходит следующее: герой фильма Иван Лапшин охотится за "бессмысленными и беспощадными" убийцами банды Соловьева. Материал, конечно, для детектива, но детектива обдуманно не получается. Банда Соловьева приобретает странно расплывчатый, почти символический характер. Она ни разу не показана в действии, зато весь фильм как бы пронизан результатами ее действий.

Один кадр особенно памятен: из темной подземной дыры работники уголовного розыска

выносят на носилках трупы и складывают их в кузове грузовика. При этом плаксивый женский голос нудно ругает кого-то за пролитый бензин. Как, во имя чего, когда были убиты эти люди, – мы не знаем. Мы даже не уверены, что они убиты бандитами. Этот момент сознательно смазан. Перед нами – просто смерть, припорошенная бедным русским снегом, будничное, привычное уничтожение, результат почти не названного, ускользающего от прямого осмысления разбоя. Банда? А, может быть, начальники?! А, может быть, товарищи?

Интересно, что в разговоре с Германом А. Липков делает примерно то же самое, что "документальная" хроника 30-х годов делала с подлинной жизнью. "Время было жестоким, – театрально перебивает режиссера Липков, – окоченевшие трупы, которые вытаскивают сотрудники милиции из какой-то подземной щели, – тягостное тому свидетельство... Но именно после этого эпизода Лапшин произносит фразу: "Ничего, вычистим землю, посадим сад и сами еще успеем погулять в том саду". Трудно не заметить, кажется, всей разъедающей иронии в соединении этого эпизода с этими словами, но Липков, прилизывая неподатливый, не вмещающийся, по его мнению, в рамки дозволенного кадр, продолжает "шершавым языком плаката": "И все-таки будут сады. Стоит работать, чтобы они были!" И еще: "Только сказав о времени так честно, жестко, мужественно, Герман может прибавить к тому и нечто гораздо большее: каким светлым было то время, как прекрасны были люди, в нем жившие!"

Выразительный пример демагогии, не так ли? Я не случайно постоянно обращаюсь к этому интервью, напечатанному в "Новом мире". Оно кажется мне яркой иллюстрацией происходящего в России "размораживания"...

Своими словами о будущем саде Лапшин почти буквально воспроизводит Петю Трофимова, "вечного" студента в разных калошах, вызывающего смешок и жалость даже у прекраснодушных и непрактичных героев "Вишневого сада". "Вся Россия - наш сад..." - произносит Петя, забывая о том, что топоры давно наточены и вот-вот затрещат эти вишневые ветви и засыпят землю лепестками. Не случайно, я думаю, А. Герман произносит беглую фразу о том, что "в 'Лапшине', каким его написал отец, мне чувствовалась интонация чеховская". Почему же именно чеховская? А у кого еще можно позаимствовать такую иронию, почти неуловимую, расползающуюся в общей сложной ткани повествования, и при этом полнокровную, отчетливо пульсирующую - сквозь эту тонкую ткань?

Вот, например, Ханин и Лапшин обедают у Наташи Адашовой. И вдруг один из них вылавливает из супа размокший обрывок газеты. По двум уцелевшим слогам он медленно восстанавливает слово "радуемся". Смешно? Пожалуй. Но еще больше - страшно. И Наташа не смеется, а смущенно и торопливо отбирает у Ханина тарелку: "Ну, что такого? Ну, что ты пристал? Ну, я мясо плохо помыла..." Все мы знаем, сколько людей попало в свое время в лагерь за небрежное обращение с советской газетой, сколько этих примеров у того же Солженицына... Ирония "Ивана Лапшина" -

сложное и болезненное чувство. Автор ведь не склонен издеваться над героями или подчеркивать их смешные черты, напротив, все происходящее с ними вызывает у него только сочувствие. Трудно и непорядочно иронизировать и по поводу этой нищенской жизни, злой и одновременно беспомощной, в которой люди готовы посадить друг друга за кусок сахара. Вот уж и впрямь – "dolce vita"! Но непрерывное движение иронии в картине неизбежно и обусловлено кощунственным разладом, существующим между действительностью и тем лживым издевательским "сценарием", которым вдоль и поперек исписала ее советская власть. Люди страдают, нищенствуют, расстаются, но серый воздух их напряженного существования пронизан ликующими мотивами, но ленинградский театр привозит в город пьесу "Слава", но задумывающий самоубийство журналист пишет о героическом летчике, а нелепая, хриплоголосая проститутка проходит в лагере не что-нибудь, а "перековку". И все это именуется "духом времени". Интересно замечание Германа о том, что после выхода "Лапшина" на экраны ему не раз пришлось услышать, что он оболгал 30-е годы: "Какая-то женщина кричала на меня прямо из зала: 'И это во времена 'Волги-Волги'! Думаю, что этот вырвавшийся из сердца вопль не нуждается в комментариях. "Документальная хроника 30-х годов" (пользуюсь этим выражением метафорически!), очевидно, пустила глубокие корни, и время ее не кончилось. Интервью А. Германа содержит еще как бы добавочный материал к фильму. Время – плавная субстанция, и наши семидесятые и восьмидесятые годы содержат ведь все,

перелитое в них прошлыми десятилетиями. В частности, – крепко вколоченный в сознание людей, подтвержденный своим и чужим прошлым опытом "стиль поведения": "Где-то кому-то картина не понравилась, многие из тех, кто нас хвалил, о своих словах позабыли.. Ложиться на полку в начале 80-х оказалось делом тяжким. На нас повесили клеймо неудачников, а неудачники симпатии уже не вызывали... ...Одни при встрече едва кланялись, другие, на всякий случай, вообще перестали здороваться... В день рождения позвонил мне только один и ни один не пришел. Все исчезли... Пустая зона вокруг нас все более ширилась. И это было на студии – убежден в том – с самым лучшим, самым нравственным из всех студий страны коллективом. Что было бы с нами, случись то же на любой другой?"

Последняя фраза звучит, как: "Что было бы с нами, родись мы в другое время?" Но кто сказал, что "связь времен" "распалась"? Она – на удивление крепкая штука.

Голос человека, от лица которого ведется повествование и который вспоминает все эти, пятидесятилетней давности события, заканчивает фильм кратким сообщением о том, что теперь в его городе не два номера трамваев, как это было во времена детства, а намного больше, и весь он вообще очень разросся, перекинулся на другой берег реки. Но при этих словах на экране проходит тот же самый тускло-зеленый город с его темною рекою, по которой движется уродец-пароход. Разросся? Да. Но ведь раковая опухоль, – думаю я, вспоминая метафору Солженицына, – тоже разрастается. Неужели это прошлое, настоящее и – не дай Бог – будущее

соединяются в последнем кадре, не оставляя надежд?

Относительно будущего, я от всей души хотела бы ошибиться, но отчетливо помню свою реакцию на этот фильм, когда я впервые увидела его три года тому назад в Москве. Я вышла на улицу из темного зала, моросил дождь, была ранняя неуютная весна, фигурки людей торопились под одинаковыми зонтами, гастроном в высотном здании был ярко освещен со всем его стеклянным виноградом и пластилиновыми окороками на витринах, а внутри толпились раздраженные очереди... Какое-то ровное будничное безнадежное чувство охватило меня.

"Да, это все так и есть. Да, это наша жизнь", - не подумала даже, а как бы всем своим существом почувствовала я.

Реакцией на увиденное было острое ощущение кем-то нащупанной и только что прикоснувшейся к душе правды. Думаю, что для всякого серьезного произведения искусства это ощущение может быть одним из основных критериев.

"Двадцать лет спустя..."

Непросто писать о фильме, судьба которого столь плотно окружена романтически-детективным ореолом: двадцать лет на полке, да на какой - в самом что ни на есть настоящем бельевом шкафу! (По словам режиссера А. Аскольдова, его жена спасла эту пленку, спрятав ее в бельевом шкафу!) Американская кри-

тика восхищается: "Поступок Надежды Мандельштам!"

Все это, конечно, замечательно: и героический порыв любящей женщины, и годы между простынями и полотенцами, и стойкое мужество самого Аскольдова, отказавшегося изменить что-либо в своем детище и тем самым жертвенно обрекшего его на чудом завершившееся только сейчас небытие, но, будучи само по себе достойным уважения, все это еще не делает фильм "Комиссар" шедевром. Повторяю: писать об этом непросто, потому что есть вещи, о которых от всей души хотелось бы сказать только самое хорошее, но закрывать глаза на общее несовершенство этой работы я тем не менее не хочу, хотя и понимаю, что в годы, когда выезд евреев из Советского Союза был столь рискованным и драматическим шагом, объявить еврейскую проблему как одну из самых актуальных и человечных значило, конечно, совершить настоящий поступок.

Но ведь если бы мы исходили только из критерия запрещенности, или неприятия властями, или риска при создании, или благородства поведения автора – Боже мой, сколько случайных и второстепенных книг, картин, опер хлынуло бы в затрещавшие под оскорбленным натиском кладовые искусства!

Поэтому попробую сказать об этой работе без прикрас и скидок.

В "Комиссаре" Аскольдов меньше всего стремится к экранизации рассказа В. Гроссмана "В городе Бердичеве", сюжет которого – только повод для того, чтобы как можно насыщеннее и символичнее развернуть перед нами "вечную" еврейскую тему. К сожалению, в

палитре режиссера и работавших с ним актеров (исключая великолепную Нонну Мордюкову!) недостает красок, да и среди тех, немногих, нередко встречаются синтетические.

Особенно вреден оказался Роллан Быков в главной мужской роли. Я не оговариваюсь, употребляя это слово: неумеренное переигрывание Быкова, дающее самое примитивное и ходульное представление о еврейском характере, губит фильм. Его постоянные прискоки и приплясы, его "провинциальные" находки, вроде той бессмысленно-счастливой улыбки, обращенной к небу, с которой заспанный герой выходит на двор по малой нужде, все эти бесконечные фольклорные танцы играют примерно ту же роль, которую играет магазин "Березка" в грустном и бедном городе "Загорске": наступает эффект грубой имитации подлинного и, как результат его, – ощущение профанации.

Преследуя, без сомнения, самые благородные цели, "Комиссар" в противовес отвратительной безнравственности антисемитизма предлагает некое умиленно-идиллическое отношение к еврейскому народу, показанному в нем, только как к беспомощному и в этой экранной беспомощности едва ли не приторному. Тонкая, болезненно-печальная тема решена в нем с какой-то азбучной наглядностью, и факт его черно-белого изображения хочется истолковать почти метафорически. Кажется, немножко бы больше такта, зрелости, вкуса, и в эту плоскостную одномерность хлынет щемящая жизнь, смывая оседающие в памяти липкие, подобные размокшему сахару сцены. Но, как назло, они слишком часто навязываются нам с экрана, и внутреннего освобождения от их назойливого, бью-

щего на первую сигнальную систему расчета не происходит. Вот, например, жена Магазанника Мария сообщает мужу, что поселенная к ним на житье комиссарша благополучно родила мальчика. Всхлипывающий Магазанник-Быков так радуется этому сообщению, что непонятно почему вдруг разражается безудержными бабьими слезами. Неужели с их помощью нам должно быть легче убедиться в нервной отзывчивости еврейского человека? К чему эта патока? Или тот же Магазанник подносит к кровати чан с горячей водой и начинает мыть ноги жене, говоря ей при этом о своей любви самым высокопарным, исполненным какой-то неуместной значительности тоном. А, может, мытье ног – это вольное переложение евангельской притчи? Тем более обидно...

Вообще создается впечатление, что на протяжении всего фильма автор разговаривает со зрителем, как с примитивным, неосведомленным человеком, в сердце которого надо без устали стучать и стучать чугунными кулаками. Таким образом, нарушается один из важнейших принципов большого искусства – возможность возникновения внутреннего диалога между произведением и людьми, к которым оно обращено, возможность нашего осмысленного и чуткого соучастия. Но, мне кажется, не стоит тыкать зрителя в блюдечко с молоком, как слепого котенка, не стоит щекотать его по носу указкой! О, я отнюдь не призываю к сознательной усложненности формы или тайнописной зашифровке идей, я просто не принимаю за искусство то, что так старательно выдвигается на первый план в "Комиссаре" – всю эту натуралистическую символику, местами доходящую до

вульгарности, частое несоблюдение важнейших гармонических пропорций в развитии действия и образов и то общее ощущение сбивчивой перенасыщенности, которую, как черновик, чистить да чистить, думать да думать...

А, к сожалению, это ощущение было самым отчетливым после просмотра.

При этом в фильме есть свои удачи и мне отнюдь не хотелось бы объявить его безнадежным.

Так неприятная развязность Быкова и неловкая самодеятельная игра Раисы Недасковской почти компенсированы блистательной подлинностью Нонны Мордюковой в роли комиссара Красной армии Клавдии Вавиловой. Она хороша, прежде всего, той плавной и мощной естественностью, которая сопровождает каждую интонацию, каждое движение, и неотделима от нее, как дыхание неотделимо от жизни. Этой естественностью, этой ошеломляющей подлинностью ее особенно любуешься во всех чисто бытовых сценах: вот сильными мужскими ударами она колет сахар на ладони, вот, беременная, укладывается спать на полу, расстелив шинель – огромная, неловкая, как тюлениха, с тяжелой, налившейся грудью, и при том, что ее простое лицо остается практически неподвижным (в противовес Быкову, который заставляет плясать каждую родинку и каждую морщинку!), зритель безусловно, почти физически, верит и в ее подходящую к концу опостылевшую беременность, болезненно ощущаемую этим большим, горячим, усталым телом, и в ее дремучую, загнанную внутрь тоску, а позднее мы так же, почти физически, верим в ее любовь к своему ребенку, и в ее привязанность к этой чужой

еврейской семье, и в ее внутренние страхи, и в ее сомнения, и в ту бесчеловечную решимость, с которой она уходит... Даже в сценах, претендующих на символическую глубину и абсолютно, на мой взгляд, неудачных, таких, как эти бесконечно длящиеся роды со схватками и потугами, иллюстрированными показом лошадей, увязающих в тяжелом песке, и лошадей, пьющих прохладную воду, или метание Клавдии с туго спеленутым младенцем на руках по развалинам храма, где она видит молящегося старика – быть может, раввина? – обращенного лицом к востоку, и застывает со своим белым, живым, спящим свертком на руках под круглой аркой полуразрушенного свода, – стоит, неподвижная, большая, некрасивая и восхитительная одновременно, и тем, *как* она стоит и *как* смотрит, почти спасает всю эту иллюстративную и банальную сцену, пытающуюся с помощью самых плоских символов выразить и общую идею материнства навязываемой перекличкой с образом окруженной полукругом нимба Мадонны с младенцем на руках, и общую идею религиозной необходимости, заключенной в душе каждого человека. Ибо по мысли автора картины, как я понимаю ее, она, бывшая крестьянка или фабричная деваха из города, которую сумасшедшая История вырвала из родной почвы, простая православная баба, начисто забывшая о Боге, должна была прийти теперь, ставши матерью, на развалины еврейской синагоги со смутным желанием хоть как-то приобщить своего ребенка к религии... И хотя я чувствую огромную художественную неубедительность этой сцены, Мордюковой с ее неподвижным испуганным лицом и толстыми руками – верю.

Если же говорить о том, что "Комиссаром" прослежена разрушительная роль русской революции, то и эта линия представляется мне несколько уязвимой. Семья Магазанников равно боится и белых, и красных, так что в этом смысле гораздо легче согласиться с тем, что фильм вообще против *всяких* военных распрей между людьми, ибо все они принадлежат к механизмам, не только убивающим теплую человеческую жизнь, но и глубоко разъедающим и взрослую, и детскую психику, что довольно удачно, хотя и слишком навязчиво, демонстрируется жестокими детскими играми в войну и казни. Метафора же, предлагаемая образом красноармейцев, бессмысленно и яростно косящих песок, могла бы быть выразительней, если бы *весь* метафорический язык "Комиссара" состоялся на другом уровне, но, попав в ряд второсортного и нацеленного прямо в лоб экспрессионизма, она невольно ассоциируется с ним и оттого проигрывает. Мне кажется, что в этом смысле гораздо удачнее короткий, жуткий расстрел дезертира в самом начале фильма или бегло очерченный характер одного из красноармейских вожаков, очевидно, снявшего с ограбленного или убитого им человека золотые часы и теперь гордо щелкающего их золотой крышкой...

Показывая местечковый еврейский быт, Аскольдов, как я понимаю, ориентируется на Бабеля, но несмотря на множество старательно и – хочется сказать – благородно воскрешенных им подробностей этой полузабытой жизни, фильму опять-таки не хватает красок, колоритных характеров, детских и взрослых, напрочь не удается разговор, речь, ибо вся семья Мага-

занника, за исключением тихой старой матери с добрыми светящимися глазами, говорит так книжно и ненатурально, словно читает по бумажке...

Бывает, что тесто не поднимается. Вот и поставили его рядом с печью, и укутали, и сахару положили, и два яйца вбили, и дрожжей добавили, а оно все не поднимается да не поднимается. Так и с фильмом "Комиссар". Замысел его – глубоко человечен, поведение режиссера – достойно, актриса – дай Бог всякому! И все же остаешься холоден к нему – хоть плачь!

"Ах, – сокрушается мой отец, выросший не в России и мальчиком ходивший в хедер, – ах, это потому, что ты не получила еврейского воспитания и рассуждения твои полны снобизма! Я согласен, что фильм – не шедевр, но чтобы почувствовать его достоинства, надо пережить все это, надо знать! Вот и в моем детстве мама так же молилась, как эта старуха, вот и мои так же уходили в гетто с желтой звездой на груди! А у тебя нет этих корней, нет их!"

Поначалу мне хочется возразить, что и в Италии я тоже не росла, и фасолевый суп мне бабушка-итальянка не варила, а вот люблю же "Амаркорд" Феллини и чувствую все его глубоко-национальные, пульсирующие жилки! Но потом я задумываюсь, прислушиваюсь к его взволнованному голосу в телефонной трубке и вдруг мне начинает казаться, что художественная достоверность – дело десятое и, как говорил Пушкин, – "тьмы низких истин нам дороже..." Тем более, что никакого "возвышающего обмана" в работе Аскольдова нет.

Фильм, при всех недостатках его – абсолютно честный. Кроме того, сейчас в России, развороченной гласностью до всех глубоких корней, кровоточащей под натиском "небывалой свободы", когда, как я понимаю, антисемитизм становится все дозволеннее, все кровожаднее, имею ли я свое "филологическое" право с точки зрения утонченных критериев кинематографического совершенства судить этот давнишний, этот чудом воскресший фильм? Есть ведь в мире вещи, посерьезнее искусства, а уж тем более посерьезнее разговоров об искусстве! И если старое еврейское сердце моего отца дрогнуло, когда он услышал с экрана слова давно забытой молитвы, может быть, одно движение этого сердца важнее всего, что приходит в мою избалованную "Амаркордом" и "Репетицией оркестра" голову?

Марк ПОПОВСКИЙ

Юрий Кондратюк – в трех зеркалах

1. Гений без биографии

История эта, посвященная нашему современнику, человеку науки и техники, грешит серьезным изъяном: в ней мало точных исторических фактов и дат. Под сомнением даже годы рождения и смерти героя. Доподлинно известно лишь то, что объект нашего интереса – гений, а также, что именем его назван кратер на Луне. Впрочем, и это последнее обстоятельство ныне вызывает споры. Все, кто пишут сегодня об этом человеке, отталкиваются от одной, впрочем довольно точной даты – дня, когда американцы Н. Армстронг и Э. Олдрин высадились на Луне. Случилось это 21 июля 1969 года. Событие это вызвало взрыв бурного энтузиазма в Соединенных Штатах и, наоборот, глубокое уныние в руководстве Советского Союза. Недовольство Москвы понять нетрудно: начиная с первого полета искусственного спутника в 1957 году казалось, что наша страна неоспоримо лидирует в покорении космического пространства. И вдруг – первыми на Луне оказались американцы. Вчера еще, как утверждала советская

пресса, отставшие от нас по всем параметрам, они сегодня собрали образцы лунного грунта, произвели множество исследований и измерений и даже организовали с Луны на Землю телевизионную передачу. Советские газеты сообщали обо всем этом с явной неохотой и раздражением, подчеркивались любые промахи космонавтов и просчеты службы НАСА. Впрочем, просчеты были не так уж и велики: в несколько приемов на Луне побывало десять американцев.

И тут-то публично впервые прозвучало имя интересующего нас лица. В журнале "Лайф", где описана была история создания корабля, который доставил космонавтов на спутник Земли, промелькнул эпизод, заставивший московских пропагандистов сделать охотничью стойку. Как утверждал американский журналист, глядя вслед удалявшемуся в космос кораблю Аполлон, один из ведущих инженеров НАСА Джон Хуболт "думал о никому не ведомом русском по имени Кондратюк, который разработал ту самую трассу, по которой человек впервые летел к Луне". Кондратюку,- как пояснил журнал "Лайф", - первому пришла в голову мысль высаживать астронавтов на поверхность Луны с помощью модуля - отдельной маленькой ракеты, стыкующейся с ракетой большой - ведущей. Надо ли объяснять, что в Москве фразу эту приняли с восторгом. Ее, многократно переделывая на свой лад, процитировали все советские газеты и журналы. Шутка ли, американцы с а м и признались, что расчеты, без которых высадка на Луне была бы невозможна или во всяком случае сильно затруднена, сделал н а ш, русский!

Советские журналисты и историки науки получили задание раскопать, кто же он, этот самый Кондратюк, и рассказать советскому народу о нашем гениальном соотечественнике. И, действительно, вскоре в прессе стали появляться по этому поводу кое-какие заметки. Но странные то были сочинения. Состояли они из пересказа единственной публикации Кондратюка, его книги "Завоевание межпланетных пространств" (1929). Упоминалась еще одна его не опубликованная рукопись, датированная 1919 годом. Никаких сведений о личной жизни ученого журналисты не обнаружили, кроме как будто года рождения - 1897 и года смерти - 1942. Да еще отмечалось, что проблемами полета на Луну заинтересовался этот таинственный Кондратюк в 1917 году, двадцати лет от роду.

В первом и втором издании Большой советской энциклопедии статьи о Юрии Васильевиче Кондратюке нет. Его густо отретушированный портрет впервые появился лишь в третьем издании БСЭ (1973), но и там, в справочной статье, читатели снова не обнаружили никаких признаков *живого* человека. Теперь я точно знаю: исследователи конца 60-х годов не ленились, добросовестно искали сведения о жизни ученого, но, очевидно, обнаружить их было в ту пору действительно трудно.

В 1956 году издательство Трудрезервиздат выпустило книгу "Полет на Луну". Я был одним из десяти соавторов этого издания. Ученые физики, инженеры и писатели, мы два года - 1954 и 1955 - упорно собирали материалы для небольшой по объему книжки, которая призвана была прогнозировать первый полет

человека на Луну. Опросили множество специалистов разных областей, беседовали с академиками. Пророками оказались мы, однако, липовыми. По нашим предсказаниям первый полет должен был состояться в 1974 году (просчет на пять лет!), первый корабль будет снабжен атомным двигателем (неверно!). Разумеется, и строители корабля и экипаж окажутся (как нам казалось) советскими людьми (дудки!). Но сейчас не в этом суть, а в том, что, беседуя на подступах к нашей книге (середина 50-х!) со специалистами, мы ни разу не услышали имени Юрия Кондратюка. О нем никто ничего не знал.

Сталин лишь недавно умер и по страницам советской прессы продолжали катиться волны борьбы за так называемый "русский научный приоритет". Если бы мы, авторы книги "Полет на Луну", услышали что-то о человеке, который еще в 20-е годы "разработал лунную трассу", можно не сомневаться, мы бы полкниги посвятили этому первопроходцу космической эры. Вся книга о будущем полете на Луну была бы выстроена по-другому. Кстати сказать, мы шарили где только можно в поисках "русского приоритета". Таков был заказ эпохи. Но никого не обнаружили кроме Циолковского и Цандера.

И через год после выхода нашей книжки, в 1957, когда взлетел в небо первый советский космический спутник, никто не вспоминал Кондратюка. А ведь какой крик стоял! Сколько бумаги было исписано в честь российского (и прежде всего советского) гения. Только в 1964-м вышли в свет Избранные труды "пионеров ракетной техники" Кибальчича, Циолков-

ского, Цандера и Кондратюка. Но и в этом издании о Кондратюке как о человеке ничего по сути не было сказано: расчеты, идеи, предсказания и – никакой личности.

Так что, хотя американцы после высадки на Луне и одарили советскую пропаганду возможностью похвастать своим Кондратюком, ничего из этого не получилось. Даже самые яркие пропагандисты не посмели написать, что Юрий Васильевич производил свои расчеты по заданию партии или строил модели космических кораблей, охваченный советским патриотизмом. Кондратюк по-прежнему оставался человеком-невидимкой, существом, не оставившим по себе почти никаких реальных следов.

Кое-какое, хотя и крайне неясное, представление об этом человеке возникло лишь, когда вскоре после статьи в "Лайф" из академических архивов кто-то извлек и опубликовал в "Трудах Института истории естествознания и техники" бумагу, датированную 1926 годом. Это был отзыв на статью Кондратюка, написанный профессором Владимиром Петровичем Ветчинкиным (1888-1950), специалистом по аэродинамике, самолетостроению и ветроэнергетике. Ветчинкин рецензирует статью Кондратюка "О межпланетных путешествиях", написанную еще в 1919-м. Отзыв специалиста несомненно интересен:

"...Оригинальность языка автора и необычные для ученого выражения дают основание предполагать, что автор является самоучкой, самостоятельно изучившим дома основы математики, механики, физики и химии. Оба указанных обстоятельства убеждают, что механик Кондратюк представляет из себя крупный талант типа

К. Циолковского или А. Г. Уфимцева, заброшенный в медвежий угол и не имеющий возможности применить свои способности в надлежащем месте... Работу Кондратюка следует напечатать в том виде, в котором он ее прислал, ради приоритета советской науки в области межпланетных сообщений и не следует откладывать печатание готового труда из-за возможности создания нового, более хорошего... Кондратюка следует перевести в Москву, ближе к научным центрам, здесь его таланты могут быть использованы во много раз лучше, чем на педагогической работе в школе или на хлебном элеваторе... Такие таланты-самородки чрезвычайно редки и оставлять их без внимания, с точки зрения государственной, было бы проявлением высшей расточительности. Москва 12. 4. 26".

Итак, кое-что проясняется: Кондратюк - самоучка, механик из провинции, работает на хлебном (зерновом) элеваторе. Спасибо ученым, добывшим этот документ! Что-то, однако, в бумаге этой представляется мне сомнительным. По роду своей литературной работы прочитал я немало документов такого рода, помеченных серединой 20-х годов. Терминология, которой пользовались профессора в те годы, думается мне, не включала выражений типа: "ради приоритета советской науки". Разговоры о советском, русском приоритете возникли лишь в пору холодной войны, с середины 40-х годов. Да и замечание о том, что ученого-самородка следует поддержать во имя *государственных* интересов (не ради его таланта, а для выгоды государства), кажется мне анахронизмом. Такого рода рассуждения стали типичными лишь в сталинскую эпоху. Замечание (во втором

письме) Ветчинкина о таланте и широте взглядов р у с с к о г о механика тоже настораживает. Я уж не говорю о том, что фамилия Кондратюк звучит как фамилия украинца, но само подчеркивание национальности изобретателя опять-таки очень отдает эпохой "русского приоритета"... Впрочем, все это только догадки, основанные на моем личном журналистском опыте. Является ли письмо профессора Ветчинкина подлинным или подделкой - решать не берусь. Интересно, однако, что в новейшей советской публикации, относящейся к Юрию Кондратюку, о которой речь пойдет впереди, оно не цитируется.

И тем не менее, какую-то подлинную информацию письмо Ветчинкина несет. Когда в 1971 году в журнале "Кубань" № 7 напечатан был очерк А. Галаган "Провидец космической эры", Кондратюк там снова (уже по свидетельству современников) показан был как техник элеватора. Одинокий, рассеянный человек, живущий в деревенской хате, занятый только своим изобретательством. Проектирует элеваторы на Украине, на Кубани, в Сибири. Примерно так же, безо всяких подробностей, описал Кондратюка в газете "Советская культура" (1 мая 1981 года) в очерке "Дорога к родному дому" В. Бровченко. Вот собственно и все, что к 1987 году было известно о советском гражданине, гениальном предтече американских покорителей космоса, Юрии Кондратюке. Согласимся, что маловато...

2. Между элеватором и Луной

После нескольких лет молчания в минувшем 1987-м о Кондратюке заговорили снова. В июне газета "Известия" посвятила ему в двух номерах восемь колонок сверху донизу. Статья Анатолия Иващенко "Выше элеватора Луна" – одно из наиболее многословных произведений, какие мне когда-либо приходилось видеть на страницах советского правительственного официоза. При всем многословии, однако, автор избегает говорить о личности своего героя. Мы узнаем, правда, что Юрий Кондратюк родился 21 июня 1897 года, но остается неизвестным место рождения. Нет ни слова о семье его, школьных впечатлениях, об учителях. А ведь именно эти годы многое определяют в судьбе выдающейся личности. Лишь в одном месте у Иващенко мелькает фраза: "Г и м н а з и с т а Юрия Кондратюка буквально потряс роман Келлермана "Туннель". В другом месте опять-таки мимоходом брошена фраза, из которой явствует, что гимназию он не окончил. При неполном среднем образовании самоучкой постигал высшую математику, физику и общетеоретические основы техники. Согласимся, случай поразительный: парень еще и основ школьных не получил, а уже за высшую математику взялся, да еще самостоятельно. Но почему и как это случилось, автор очерка в "Известиях" разъяснить не считает нужным.

Чем дальше движется биография Кондратюка, тем более странно она выглядит. Между двадцатью и двадцатью восемью годами он зарабатывает на жизнь колкой дров, а также

работая смазчиком на железной дороге. Наиболее интеллектуальное занятие тех лет – репетиторство – уроки с отстающими школьниками. По части изобретательства в те же годы он, однако, поразительно активен. В перечне его изобретений водяная турбина необычной конструкции, гусеничный автомобиль, беспружинные центробежные рессоры, вакуумный насос особой конструкции, часы длительного завода, электрическая машина переменного тока высокой мощности и многое другое. Одновременно занимался он разработкой полета за пределы Земли и за полгода нашел основные положения ракетного полета. Живет он при этом в глухомани, ни с кем из ученых не знается, о том, чтобы стать студентом института или сотрудником хоть какой-нибудь завалящей лаборатории, не помышляет. Все его мысли, если верить очерку Анатолия Иващенко, в Космосе, главный интерес сосредоточен на полете к Луне.

Предположим, что все так и было. Но давайте спустимся с небес на Землю и напомним, чем жила в эту пору наша планета. В 1914-м – Кондратюку уже семнадцать лет. Начинается Первая мировая война. Потом с 1918-го по 1922 гремит война гражданская. Мог ли юноша призывного возраста уберечься в эту пору от военной службы? В каких-то войсках он, конечно, служил. В каких? В Царской, Красной или Белой армии? Молчит Иващенко, вернее толкует только о космических интересах своего героя. Иных как будто и не бывало...

Сколько-нибудь реальные формы жизнь Юрия Кондратюка обретает лишь в 1925 году. По словам очеркиста, он в этом году стал механиком на элеваторе. Произошло это на Кубани,

в станице Крыловской. Удалось даже разыскать пожилую женщину, которая 62 года назад, будучи маленькой деревенской школьницей, знала Юрия Васильевича: он квартировал в доме ее матери. Воспоминания по себе оставил добрые. После работы из дому никуда не уходил. Садился к своему столу, что-то писал, чертил. По вечерам читал девочке книги, учил ее играть в шахматы. "Когда я делала ошибки - не сердился: сердиться он просто не умел. А вот смеялся всегда заразительно". В конце лета 1926 года жилец уехал строить элеватор сперва в другую кубанскую станицу, а потом в Сибирь. Куда? Сибирь-то велика... В тексте очерка случайно мелькает название реки - Иртыш. В 1929 году Кондратюк в Новосибирске. Безо всяких предварительных объяснений Анатолий Иващенко сообщает нам, что элеваторный механик становится автором книги "Завоевание межпланетных пространств". Книгу он выпустил сам, на собственные деньги. Две тысячи экземпляров. Событие немаловажное, но комментариев к нему - никаких. Правда, у меня самого вырвался незапланированный комментарий: неплохие еще были времена на нашей родине; книги можно было выпускать самому, без редакторов и издателей...

Что происходило с Кондратюком в следующие десять лет, Анатолий Иващенко не пишет. То ли не знает, то ли знать не хочет. Довольно странно звучит в его очерке такой, например, пассаж: "Я бы, может, не собирал разрозненных и очень противоречивых сведений о Кондратюке... если бы не одна п р а к т и ч е с к а я мысль - привлечь внимание к проблеме... оставшейся вне поля нашего зрения,

но такой важной для всех нас". Оказывается, для всех нас всего важнее узнать сегодня о ветроэнергетике, которой Кондратюк занимался с большим энтузиазмом в конце 30-х годов. Получать электроэнергию с помощью ветра - очень выгодно, объясняет Иващенко. Но для журналиста "Известий" главное даже не в энергии, а в том, что и в этой области техники советский изобретатель опять обогнал Америку. Иващенко прочитал в каком-то американском журнале статью по ветроэнергетике. "Нет, там не было имени Кондратюка, но - пока еще в зачаточном состоянии - формулировались его мысли". Вот где собака зарыта: наш, советский, снова впереди! Тому, кто смог продраться через все восемь колонок сверху донизу в полный газетный лист, становится ясно лишь это: и высадка на Луне и ветродвигатели самой совершенной конструкции - наша идея, советская. Без нас вы там неизвестно еще, высадились ли бы на Луне, господа американцы! Об этом говорится почти прямым текстом: "В 1960 году на английский были переведены труды Ю. Кондратюка... В печать просачивались сведения о том, что решить проблему "помогла русская книга". Нет никакого сомнения: очерк "Выше элеватора Луна" написан и напечатан прежде всего ради этого вывода. Личная судьба изобретателя? Да, конечно, она занятна. Но не в ней суть.

Последние годы жизни Юрия Васильевича окончательно тонут в тумане. Судя по многочисленным цитатам из его статей, которые приводит Иващенко, Кондратюк действительно имел интересные идеи, относящиеся к развитию ветроэнергетики и постройке ветроус-

тановок. Созданы были в начале тридцатых годов и проектно-экспериментальные конторы (ПЭК), призванные сконструировать все эти башни. Работал конструктором в одном из таких ПЭК и Кондратюк. Там создавали ветроустановку, которой предстояло работать в Крыму на Ай-Петри. Однако, хотя первый проект (чей?) утвержден был еще в 1934 году, до начала войны ничего построить так и не удалось. Как уже не раз бывало на Руси: идей у нас достаточно, а как до дела доходит...

Конец жизни Юрия Кондратюка описан в очерке несколько более конкретно, хотя и предельно кратко. Летом 1941 года ПЭК, где он работал, закрыли.

Изобретателя погнали в армию. Анатолий Иващенко извещает читателей, что 7 июля герой его "добровольцем ушел на фронт с ополчением Киевского района Москвы. Погиб предполагается в конце 1941-го или в начале 42-го... Был он рядовым роты связи в 62 полку 21 дивизии". Никаких подробностей о гибели великого изобретателя не известно.

Неприятно резануло слух слово "доброволец". Ополчение - одна из наиболее позорных страниц сталинской стратегии начала войны. Когда в 1941 году танки генерала Гудериана подошли к столице, Сталин бросил против бронированных колонн десятки тысяч скверно вооруженных, почти необученных людей, тех, кого по возрасту и по состоянию здоровья часто и в армию не брали. Было среди них немало ученых, писателей, художников. Подавляющая часть ополчения погибла в первых же сражениях. Как и другие ополченцы, Кондратюк д о б р о в о л ь ц е м не был. Никто этих несчастных

об их воле и желаниях в ту пору не спрашивал.

Иващенко, однако, этой лжи показалось мало. Он дополнил ее еще и лицемерием. Ибо как иначе можно понять следующий пассаж: "Конечно, жалко. Конечно, напрашивается вздох – не уберегли. Конечно, вскоре началась лихорадочная работа над ракетами... Война есть война. *И вряд ли Кондратюка удалось бы удержать".*

Под занавес автор очерка в "Известиях" выразил надежду, что, может быть, еще найдутся люди, бывшие с Кондратюком на фронте. Или сыщутся те, кто знают, куда девался архив Юрия Васильевича. Однако в следующие восемь месяцев газета так и не возвратилась к имени Кондратюка, из чего можно сделать вывод, что обнаружить свидетелей его жизни не удалось. А может быть, и удалось, да рассказали свидетели не то, что ожидали от них в газете "Известия". Бывает...

Все это время "Известия" продолжали лягать "отсталых" американцев, которые скорее всего и на Луну бы не попали, если бы не вывезли к себе в Америку большую группу немецких ученых-ракетчиков. ("От Дахау до Луны" 12 сентября 1987 г.) Не обошлось без антиамериканских выпадов и в беседе с академиком Барминым по поводу первого советского спутника (29 сентября 1987 г.). Но Кондратюк, как это ни странно, не был упомянут и тут. Меня удивляет, однако, не молчание свидетелей (их действительно могло не остаться после чисток 30-х и войны 40-х годов) и не стремление советского официоза любыми средствами унизить американскую науку и технику. Тут

все нормально. Удивительно другое: как это, работая над биографией Юрия Кондратюка, Иващенко не задумался над вопиющими странностями биографии своего героя. Достоверно ли, чтобы двадцатилетний парень без среднего образования мог взяться за сложные расчеты в неисследованной области, не имея никакого учителя и руководителя? Почему Кондратюк не поступил в высшее учебное заведение? Или хотя бы техником в какую-нибудь научную лабораторию по профилю своих интересов? Чем вызваны его метания по стране? Почему осталась незарегистрированной большая часть его изобретений? (Зарегистрированы в основном изобретения, относящиеся к элеваторной технике.) И, наконец, что это за странный человек, у которого нет ни родственников, ни друзей, ни семьи?

Анатолий Иващенко этих вопросов не задает. Его в судьбе Кондратюка ничто не удивляет, не занимает. А может быть, он преднамеренно не хочет ворошить странную эту биографию? Вот он пишет: "Скудны сведения о личной жизни Кондратюка. Особенно о молодых годах. В разрозненных публикациях о той поре много путаницы..." Значит, какие-то публикации о юности изобретателя все-таки существуют и Иващенко их читал. Почему же не попытался он разобраться вместе с читателем в этих, пусть даже "разрозненных" сведениях?

Боюсь, что "путаница", о которой пишет автор очерка, не что иное, как реальные факты из жизни Юрия Кондратюка, которые не подходят газете "Известия". Кого-то больше устраивает герой без биографии, но зато такой, благодаря которому пропаганда может твердить

сегодня о советском превосходстве над научно-технической мыслью американцев. Догадка? Пока да. Но я надеюсь в следующей главе обосновать ее кое-какими фактами.

3. Тень обретает человеческие черты

Я много лет писал о людях науки, но о Кондратюке в Советском Союзе слышать не приходилось. Впервые имя это прозвучало для меня за семь лет до появления статьи в "Известиях" майским утром 1980 года. Незадолго перед тем я эмигрировал и получил место в Институте имени Дж. Кеннана в американской столице. Работая в кабинете, имел я обыкновение оставлять дверь в институтский коридор открытой. Однажды утром на пороге остановилась дама, в которой я с первого же момента узнал соотечественницу. Г-жа Л. Б. (пепельные косы вокруг головы и легкая монголинка на миловидном русском лице) оказалась доктором наук, профессором одного из американских университетов. Она временно работала в Институте Кеннана и ко мне зашла за консультацией, как к человеку, недавно выехавшему из Советского Союза. Ее интересовало, что такое "Звездный городок". Я объяснил, что "звездными городками" называют поселки, где живут и готовятся к полетам советские космонавты. "А музей там может быть?" Да, как я слышал, в "Звездном городке" под Москвой действительно есть музей космонавтики. Моя собеседница задумалась. Чувствовалось, что ей хочется что-то рассказать, но она не решается предаваться воспоминаниям пе-

ред малознакомым человеком. Я подбодрил ее и услышал историю почти детективную.

Дворянский род моей собеседницы идет с Украины. Впрочем, предки ее уже давно оставили земледелие и стали людьми интеллигентного труда. Дед по материнской линии, полковник царской армии, по образованию инженер, преподавал в военном училище в Киеве. Про деда этого, Ивана Андреевича Лашинского, слышала она в детстве. Был он талантливым изобретателем, одержимым фантастическими идеями о полетах на другие планеты. Идеи эти, надо полагать, были не пустыми, ибо живущая в СССР родственница сообщила недавно: портрет И. А. Лашинского помещен в музее "Звездного городка". Дед умер в 1927-м. С него вся история и пошла.

Другой участник этой истории - военный врач Владислав Владиславович Радзевич, выпускник Петербургской Военно-медицинской академии. Был он отчимом моей собеседницы, уездным врачом в городе Смела на Украине. Там и застала его Гражданская война. Доктор Радзевич, по словам его падчерицы, относился к тем российским интеллигентам, что готовы были помогать всем и каждому. До революции лечил он без разбора богатых и бедных, подчас не беря гонорара с неимущих пациентов. Во время Гражданской войны, когда власть в городе переходила из рук в руки, доктор Радзевич, верный своим принципам, помогал всем раненым, независимо от их национальности и политических убеждений. Как и в доме другого русского интеллигента Максимилиана Волошина, у него находили в эти страшные дни приют "и красный вождь и белый офицер". Где-то в

начале 1919 года таким белым офицером был раненный Александр Шамрай, юноша, лишь недавно окончивший Киевское военное училище. Молодой человек знал обитателей дома и прежде: ведь в Киеве он учился у полковника Лашинского, чья дочь была женой доктора Радзевича. За время ученья у Лашинского Шамрай стал горячим поклонником его инженерных идей относительно полетов на другие планеты. Родом Александр Шамрай был тоже из ближних мест: имение его родителей – Шамраевка, располагалось где-то неподалеку от Смелы и Черкасс.

Смела в те дни (речь идет о конце 1918 и начале 1919 года) уже несколько раз переходила из рук в руки. Во время одного из боев в дом доктора Радзевича принесли тяжело, по существу безнадежно, раненного красного командира. Командир лежал в одной из комнат докторского дома и врач делал все возможное, чтобы спасти его. В конце концов, однако, этот пациент умер. В город в те же дни вступили красные. К врачу пришел красный командир, брат покойного. Он выразил врачу глубокую благодарность и сказал примерно следующее:

"Вы хороший врач и хороший человек. Мне хотелось бы отблагодарить вас за все, что вы, с опасностью для жизни, сделали для моего брата. Но я знаю – подарков вы не берете. Знаю и то, что в доме вашем скрывается белый офицер. Ради вас мы его не тронем. Вот документы для него – пусть немедленно убирается из города. Следующий раз мы его не пощадим". С этими словами красный командир положил на стол документ на имя мещанина Юрия Василье-

вича Кондратюка, родившегося в Полтаве в июне 1897 года. Надо ли говорить, что молодой человек воспользовался спасительной бумагой и немедленно ретировался из Смелы.

Так не стало русского дворянина и офицера Александра Шамрая, не стало и полтавского мещанина Юрия Кондратюка, погибшего, очевидно, в одном из тогдашних сражений. А вместо этих двоих вошел в жизнь некто третий: талантливый изобретатель, один из первых в мире творцов науки о космических полетах. Преображение это дает ответ на многие загадки, возникающие при чтении очерка Анатолия Иващенко в "Известиях". Мы узнаем, что у юного Кондратюка (будем его так называть) был учитель. Юноша начинал не на голом месте, как могло показаться. Интерес к высшей математике и физике, увлечение идеями астронавтики сформировал в нем инженер Лашинский. Произошло это в годы, которые провел Кондратюк в Киевском военном училище.

Становится понятней и дальнейшая судьба его. Перед нами бывший белый офицер, который почти четверть века скрывал, опасаясь ареста, свое имя и происхождение.

Этим объясняются и постоянные переезды с места на место: с Украины на Кубань, оттуда в Сибирь. И невозможность учиться в Университете с этим же связана: подай он заявление с просьбой принять его на физмат, от него немедленно потребовали бы множество справок – кто, откуда, кто родители. (Не забудем: в 20-е годы дворян в советские высшие учебные заведения вообще не принимали.) Оставалось колоть дрова и работать смазчиком на железной дороге: в таких ролях изобретатель стано-

вился мало приметным для властей. В обстановке повальной слежки и доносительства то был козырь, и немалый. Механик элеватора – тоже позиция не слишком приметная. Вдобавок можно переезжать с места на место, не привлекая ничьего внимания. На то, чтобы оставаться незаметным, направлена была, очевидно, вся жизнь Юрия Васильевича. "Одет кое-как, – вспоминает о Кондратюке середины 20-х годов бывшая жительница кубанской станицы. – После работы никуда из дома не выходил". В те годы в стране, исповедующей классовую ненависть, надо полагать было немало людей, которым приходилось скрывать свое прошлое, резко менять привычный образ жизни. Далеко не всегда речь шла лишь о палачах и карателях. Учитель Шамрая-Кондратюка, полковник царской армии, инженер Иван Лашинский, пересел в те годы с преподавательской кафедры на облучок извозчичьей пролётки, стал последним извозчиком Киева.

Воспоминания г-жи Л. Б. наводят на мысль, что рукопись Кондратюка "Тем, кто будет читать, чтобы строить", написанная, как известно, в 1919 году, скорее всего создана была в доме доктора Радзевича. Речь идет о той до сих пор постоянно цитируемой рукописи, где двадцатидвухлетний мечтатель описал будущую четырехступенчатую ракету на кислородно-водородном топливе, а также независимо от К. Циолковского вывел уравнение ее движения в космосе. В той же рукописи предложил он использовать сопротивление атмосферы для торможения ракеты, а главное выдвинул идею, которую ровно полвека спустя реализовали при посадке на Луну американцы. Я имею в виду

идею небольшого взлетно-посадочного аппарата (модуля), отделяемого на время высадки от основного корабля. Предполагаю, что расчеты эти были сделаны в доме Радзевича, поскольку ни до, ни после пребывания в доме доктора у молодого человека попросту не было постоянного пристанища и времени для работы такого рода. К тому же известно, что незадолго перед тем, в 1918 году, Кондратюк разыскал в старом номере журнала "Нива" заметку о предложенной К. Циолковским ракете. Расчеты в той заметке отсутствовали. Они были опубликованы лишь в журнале "Вестник Воздухоплавания", который попал в руки Юрия Васильевича уже два года спустя. К этому времени его собственные расчеты уже давно были готовы.

Надо действительно быть гением, человеком, полностью захваченным жаждой творчества, чтобы заниматься всеми этими расчетами и выкладками в одном шаге от смерти. Ведь красный командир, который передал Александру Шамраю документы на имя Кондратюка, мог бы поступить и более естественно для человека тех лет и тех обстоятельств и попросту пристрелить "белого гада". "Война есть война", – как глубокомысленно заметил в своем очерке Иващенко. По чистой случайности в т о й войне Кондратюка не убили. Но в конце концов система, которая довела ценность человеческой жизни до самого низкого известного в XX столетии уровня, все-таки послала его на смерть. Но об этом ниже.

4. Vox populi – глас народа

После встречи с г-жой Л. Б. я начал опрашивать людей, в той или иной степени знакомых или заинтересованных космонавтикой. Через русскую газету обратился к эмигрантам с просьбой сообщить, что им известно о Юрии Кондратюке. Несколько полученных ответов убедили меня, что я стою на верном пути. Писательница Евгения Димер (Вест Орандж, Нью-Джерси) подтвердила: в годы Гражданской войны ее мать жила в городе Смела на Украине и там действительно работал доктор Радзевич, имевший славу прекрасного врача и гуманного человека. Автор другого письма Ю. Глуховской (Нью-Лондон, Коннектикут) поставил под сомнение текст опубликованного в советской печати отзыва проф. Ветчинкина на работы Юрия Кондратюка (см. главу "Гений без биографии"). По сведениям, которыми располагает Глуховской, профессор Ветчинкин, получив в 1926 году рукопись Кондратюка, счел расчеты и идеи молодого изобретателя наивными и рукопись к печати не рекомендовал. Тот текст отзыва, который был опубликован, очевидно, подвергся фальсификации. К этому можно добавить, что Анатолий Иващенко в своем очерке не процитировал отзыв Ветчинкина, хотя, казалось бы, положительная оценка работ Кондратюка в устах столь уважаемого специалиста чрезвычайно выгодна для вознесения русского гения. Но вероятно, отношение к тексту Ветчинкина, впервые появившемуся в печати в 1964 году, к 1987 изменилось...

Среди прочего, Ю. Глуховской сообщает, что книгу "Завоевание межпланетных пространств"

Кондратюку удалось напечатать после того, как он получил премию за какое-то свое изобретение в области сельскохозяйственного машиностроения. Жил изобретатель более чем скромно и только премия позволила оплатить выпуск книги.

Григорий Гольянский (Нэшвил, Теннеси), со школьных лет увлекающийся историей космонавтики, в письме ко мне сообщил, что сколько-нибудь полной биографии Юрия Кондратюка он не обнаружил ни в Музее космонавтики имени К. Циолковского в Калуге, ни в одном из советских изданий. Однако, беседуя с некоторыми соотечественниками, "которые имели возможность читать то, что в Советском Союзе никто читать не мог", он, Гольянский, кое-что о Кондратюке узнал. Знакомый кинематографист, который собирался делать фильм о знаменитом ракетчике Сергее Королеве, получил доступ к некоторым труднодоступным архивам и среди прочего узнал, что, живя в начале 30-х годов в Новосибирске, Кондратюк сотрудничал с местным клубом ГИРД (Группа реактивного движения). То были общественные организации при Осоавиахиме. Члены ГИРД на общественных началах строили модели жидкостных ракет. Известно, что такие группы возникли в 1931 году в Москве, Харькове и Баку. Не исключено, что новосибирскую группу организовал Кондратюк.

О деятельности этих энтузиастов Большая советская энциклопедия сообщает: "Из стен ГИРД вышли крупные ученые и конструкторы, принявшие активное участие в развитии ракетно-космической науки и техники; они внесли неоценимый вклад в создание ракет,

искусственных спутников, автоматических ракетных станций и космических кораблей". Большая советская энциклопедия, из которой мы извлекли эти сведения, сообщает также, что ГИРДы были слиты позднее в Реактивный научно-исследовательский институт, работавший под командованием Генерального штаба Красной армии. К сожалению, Энциклопедия забыла сообщить о том, что весь штат Реактивного НИИ был арестован и большинство тех, кто с таким энтузиазмом работали в группах ГИРД, погибли в тюрьмах и лагерях. Был арестован и Кондратюк. Очевидно, это произошло в году 1933-м. Но ему "повезло": вместо обычных обвинений в шпионаже и диверсии, его обвинили всего лишь в украинском национализме. Новоявленного националиста выслали в глухой район Средней Азии.

В одном из писем, упомянутых выше, Григорий Гольянский дает факты для продолжения биографической канвы. Якобы в 1936 или начале 1937 года нарком черной металлургии, старый большевик Серго Орджоникидзе, совершал поездку по среднеазиатским республикам. Своими грязными улочками и глинобитными домиками без внешних окон узбекские кишлаки как будто остановились в XVII столетии. Но один поселок поразительно отличался от других. Нарком нашел там водопровод, мельницу и даже ветровую электростанцию. Все это построил ссыльный Кондратюк. "Поедешь со мной!" - решительно заявил нарком и увез Юрия Васильевича в Москву. И действительно, есть доказательства того, что с конца тридцатых годов и до начала войны изобретатель работал над созданием ветроустановок в проектно-экспери-

ментальной конторе (ПЭК) ветроэлектрических станций. Возможно, его взяли туда по указанию Орджоникидзе.

О том, что С. Орджоникидзе знал и высоко ценил изобретательский дар Кондратюка, рассказала одному из моих корреспондентов жена Серго Зинаида Гавриловна. Эмигрант Ф. С., просивший не называть его имя полностью, – мать в Москве, – в конце 50-х годов встретился с вдовой Орджоникидзе в гостях у своих родственников. Зинаида Гавриловна сказала тогда, что, по мнению ее мужа, слова "гений" не достаточно для того, чтобы по заслугам оценить творческие возможности Кондратюка. "Если бы Серго не погиб в 1937, – прокомментировала Зинаида Гавриловна, – и Кондратюку дали бы возможность развернуть полностью свои способности, не исключено, что он дал бы стране оружие, которое заставило бы немцев в 1941 году серьезно подумать, прежде чем начинать войну с СССР".

Не берусь комментировать это предположение. Не исключено, что вдова Орджоникидзе, знавшая о Кондратюке от своего мужа, права. О Юрии Васильевиче после смерти наркома черной металлургии никто не позаботился. Впрочем, есть слух, что об изобретателе вспомнили, хотя и поздновато... По словам Григория Гольянского, изобретателю "повезло": он попал в немецкий плен. Среди советских генералов, занятых производством оружия, возникло беспокойство, а что если немецкие ракетчики во главе с Вернером фон Брауном заполучат к себе этого самого Кондратюка? Работы над ракетами "Фау" к этому времени уже подходили к концу...

Гольянский пишет: "Двум партизанским группам дан был приказ освободить изобретателя из немецкого лагеря и доставить его в Москву. Партизанам удалось установить контакт с Ю. В. и они попытались устроить ему побег. Но перед самым побегом Кондратюк покидать лагерь отказался. Он сказал, что в лагере находится мальчик, с которым он дружен, мальчик болен и за ним некому ухаживать. Через некоторое время мальчик умер, но к этому времени тяжело болен был уже сам Кондратюк. По сообщению партизан, поддерживавших с ним связь, он погиб в лагере в 1942 году". Ему не исполнилось еще и 45 лет.

Я не могу без оговорок принять эти факты, как, впрочем, и отвергнуть их. Опасаюсь, что история с партизанами не достоверна, ибо в 1941–1942 годах как будто советская сторона еще не знала о работах немцев с ракетным оружием. Впрочем, настаивать не стану. Передаю лишь то, что узнал у других.

Есть среди полученных мною писем и такое, которое касается судьбы Кондратюка уже в наше время. Вольф Фалькович (Чикаго) сообщает, что на пороге 1977 года высшее киевское руководство, прослышав, что Кондратюк родился в Полтаве, распорядилось с помпой отметить 80-летие великого у к р а и н с к о г о ученого и изобретателя. Задумано было торжественное заседание в Академии наук Украины, открытие мемориального музея Кондратюка на одном из сахарных заводов, где он как будто работал. Планировалась публикация многих статей в научной и общей прессе. Но в одночасье вся бурная работа эта была приостановлена: наверху дознались, что Кондратюк вовсе

не Кондратюк, а белый офицер, воевавший против большевиков. Однако после полета американцев на Луну именем "советского" космического первопроходца был назван лунный кратер и маленькая улочка в Москве.

Теперь, когда мы кое-что узнали об этом историческом лице, становится понятной та стеснительность, с которой Анатолий Иващенко пишет о "разрозненных" и "противоречивых" фактах в биографии своего литературного героя.

Остается только посочувствовать журналисту, которому приказали совместить столь скверно совместимые тезисы: о "превосходстве советской науки и техники над американской" и о "героическом образе отечественного ученого и изобретателя, творящего в единстве со своим народом". О превосходстве Анатолий Иващенко прокричал, а от "героического образа" пришлось отказаться. Кондратюк в изображении газеты "Известия" оказался подобным поручику Киже из одноименной повести Тынянова, того самого Киже, что настолько секретен, что и "фигуры не имеет".

5. Юрий Кондратюк меняет национальность?

Я, конечно, вижу: биография Кондратюка в том виде, в котором мне удалось ее реконструировать, несовершенна. Описать жизнь человека, который весь свой век только и делал, что скрывал от всех свое прошлое и настоящее, крайне трудно, многие белые пятна удается заполнить лишь с помощью умозаключения. Наиболее туманна л и ч н о с т ь изобретателя, его, так сказать, внутренний

портрет. Пребывал ли он все эти годы в непрерывном тайном страхе или, как человек рационального ума, деловито рассчитывал, в какой именно момент следует ему перебраться из пункта А в пункт Б. Был ли он тщеславен и жаждал признания ведущих специалистов своего времени или творчество увлекало его само по себе?

Большое письмо Кондратюка, адресованное профессору Рынину (середина 20-х годов) и авторское Предисловие к книге "Завоевание межпланетных пространств" (октябрь 1928 г.), хотя и бедны красками личного порядка, показывают нам человека, явно знающего себе цену. Называть его оторванным от действительности мечтателем я бы не стал. Так в Предисловии к книге автор сообщает, что две последние главы ее он пока публиковать воздерживается, поскольку "указанные главы... слишком близки уже к рабочему проекту овладения мировыми пространствами - слишком близки, чтобы их можно было публиковать, *не зная кто и как этими данными воспользуется*". В этих строках видится мне не только самолюбивый изобретатель, но и человек, не лишенный политического расчета. Упоминание о готовых, но неопубликованных главах, очевидно, должно было по мнению автора привлечь к нему повышенный интерес ученых, а это в свою очередь могло бы как-то изменить его судьбу. К сожалению, на книгу обратили внимание лишь много лет спустя, да и то не ученые, а специалисты по политической пропаганде. Мы так и не знаем, что сталось с теми двумя главами, которыми Кондратюк прельщал современников. Утеряны? А может быть, они не были написаны?..

На этом месте мне, как биографу, следовало бы, очевидно, остановиться и завершить очерк о Юрии Васильевиче Кондратюке традиционным призывом к читателям откликнуться, если в их руки попадут какие-нибудь новые материалы. Но расстаться с этой удивительной личностью оказалось не так-то просто. Мой вариант биографии встретил отпор. Возражения пришли на этот раз из Израиля. В пятницу 3 декабря 1982 года газета "Джерузалем пост" опубликовала статью Зеева Вольфсона под трудно переводимым заголовком "The Kondratiuk eclipse". В подзаголовке говорилось, что автор статьи исследовал вопрос, "почему именно советская власть отказалась признавать своего пионера астронавтики". Полтора года спустя та же статья в несколько расширенном виде появилась по-русски в израильском журнале "Кинор" (№ 4, 1984). Облик Юрия Кондратюка в этих статьях резко изменился, о чем свидетельствовал и гипотетичный портрет героя, нарисованный газетным художником на фоне затмившейся Луны.

Зеев Вольфсон - человек серьезный и на Западе известный. Эколог Вольфсон, репатриант из Советского Союза, живущий ныне неподалеку от Тель-Авива, произвел довольно сильное впечатление своей переведенной на европейские языки книгой "Уничтожение природы" ("Посев", 1978). Книга вышла еще до эмиграции автора, и Вольфсон вынужден был укрыться тогда за псевдонимом "Борис Комаров". Успешно сокрушив разорителей российской природы, Комаров-Вольфсон принялся за реконструкцию биографии Юрия Кондратюка. В его изложении она стала выглядеть следующим образом.

Замечательный изобретатель и один из основателей космонавтики – еврей. Его имя Самуил Яковлевич Шингер. Он родился в Полтаве, в интеллигентной еврейской семье. Рано осиротел и воспитывался дядей. В 1916 году окончил Полтавскую гимназию. Год его рождения в "Джерузалем пост" назван 1897, а в журнале "Кинор" – 1893-й. В последнем случае получается, что мальчик закончил гимназию в 23 года. Поздновато для гения...

В том же 1916-м Шингера призвали в царскую армию и послали на германский фронт. Год спустя, в 1917, он уже был офицером (миновав училище) и, в связи с развалом русской армии, вернулся домой "к своим вычислениям и изобретениям, поглощавшим его с ранних лет". По мнению Вольфсона дальнейшая судьба этого еврея складывалась следующим образом. Во время Гражданской войны он присоединился к армии генерала Деникина. Как и почему это произошло, Вольфсон не знает: "Ненависть к большевикам? Или обстоятельства: хотя армия Деникина и называлась Добровольческой армией, нередко в нее мобилизовали силой. Как бы там ни было, он провоевал несколько месяцев против красных, но при отступлении деникинцев остался в маленьком украинском городке, предъявив большевикам паспорт на имя Юрия Кондратюка, белого офицера".

Вся дальнейшая жизнь деникинца-изобретателя описана Вольфсоном почти так же, как и у меня: страх разоблачения, переезды с места на место, новые и новые изобретения, расчеты. Израильский автор приводит, однако, названия

еще двух мест, где в разное время работал Шингер-Кондратюк. Сначала в 20-х это была деревня Малая Виска (ныне Кировоградская область Украины), там исполнял он должность механика котельной на сахарном заводе. Позднее герой оказался в Сибири в городе Камень-на-Оби. Здесь оборудовал огромный элеватор, который и доныне стоит на берегу реки. Именно отсюда в начале 1926 года послал он в Москву в Управление Главнауки свою статью, которая попала затем в руки проф. Ветчинкина. Вольфсон подтверждает мою догадку о том, почему Кондратюк не стал поступать в советские университеты: боялся расследования своей биографии, разоблачения прошлых "грехов".

Кроме национальности героя новым в статьях Вольфсона было для меня то обстоятельство, что профессор Николай Алексеевич Рынин, которому Кондратюк прислал письмо с описанием своих расчетов, приглашал его в начале 30-х годов в институт, занимавшийся проблемами авиации и ракетной техники. "Дважды "Кондратюк" приезжает для этого в Москву, дважды ведет переговоры с дирекцией, дважды выходит из института с анкетами для нового сотрудника и дважды исчезает из столицы без предупреждения..." - пишет Вольфсон. Речь шла об институте, принадлежавшем наркомату обороны, который позднее стал называться ЦАГИ. Бывшему деникинцу в такие места соваться действительно не следовало... А с другой стороны: "Ни жены, ни женщины, ни детей. Единственная во всей жизни любовь, единственная страсть - расчеты, связанные с космосом. И единственное место, где он мог утолить эту страсть, где мог почувствовать себя полноценным чело-

веком, наконец, позвало его и он... должен отказаться" (Вольфсон).

Тем не менее, подтверждает Вольфсон, "Кондратюк" вскоре был арестован в своей сибирской глухомани, но отсидел всего лишь три года, "чего бы не случилось, если бы ГПУ дозналось о его прошлом". И еще одна деталь: Шингер-Кондратюк уже после возвращения из тюрьмы был принят в какую-то находившуюся под Москвой организацию, занимающуюся авиацией, откуда осенью 1941 года ушел на фронт.

Откуда же автор из Израиля взял все эти факты? Вольфсон объясняет, что у Шингера-Кондратюка в Москве была близкая семья Горчаковых. Их дом был, якобы, единственным пристанищем бездомного, метавшегося по стране изобретателя. Там держал он свое скромное достояние: чемодан с одеждой и ящик с книгами и рукописями. Именно мать и дочь Горчаковы рассказали Зееву Вольфсону о жизни своего друга. Сообщили они и то, что осенью 1941, перед уходом на фронт, он провел в их квартире последние полчаса.

...Итак, нас убеждают в том, что русский дворянин Александр Шамрай, скрывавшийся под фамилией полтавского мещанина Юрия Кондратюка, на самом деле не кто иной, как еврей-интеллигент Самуил Шингер. Мне лично национальная принадлежность героя безразлична. Как историка и литератора меня тревожит беда личной его жизни, ибо я знаю, каким несчастьем беды тысяч Кондратюков оборачиваются в конце концов для всего народа в целом. В статьях Зеева Вольфсона мне слышатся иные заботы. Для израильского автора Самуил Шингер прежде всего еврей, то есть н а ш. Этому обстоя-

тельству он посвящает в журнале "Кинор" целое рассуждение.

"Раввин Адин Штейнзальц в статье "За тебя мы умираем" приводит пояснения талмудистов к 44 песне из "Теилим" (Псалмы Давида). Когда еврей погибает от руки нееврея, если даже в тот момент он не думал о том, что он еврей, по сути умирает именно за свое еврейство. Самуил Шингер вынужденно взял чужое, нееврейское имя и при жизни он не страдал из-за своего еврейства. И погиб он от фашистской пули совсем не за то, что он был евреем. Однако суть его жизни - его научные идеи и посмертная слава - были приписаны другому человеку, иными словами Самуил Шингер как ученый уничтожен именно за то, что он - еврей".

Вольфсона возмущает также, что "кратер (на Луне) назван именем Кондратюка, тогда как, по всей справедливости, он должен носить имя Самуила Шингера". Не ограничиваясь выражением негодования, он призывает читателей к протесту: "Мы должны требовать от международной организации, которая присваивает наименования морям и кратерам на Луне, переименовать кратер Кондратюка в кратер Шингера. (Или в крайнем случае в кратер Шингера-Кондратюка)". Разумеется, каждый народ имеет право на свои национальные чувства. И нет ничего удивительного в том, что у еврея, переехавшего из России в Израиль, национальные эмоции несколько обострены. Беспокоит другое: став на этот путь, мы рискуем соскользнуть на позицию корреспондента "Известий" Анатолия Иващенко, который тоже ведь потратил немало труда и темперамента, чтобы доказать:

в космическом соревновании н а ш Кондратюк лучше не нашего, американца. Хотя в понятие н а ш автор "Известий" вкладывает не столько национальный, сколько политический смысл ("наш - советский")...

Но оставим эту щепетильную тему. В конце концов в документальной биографии важны лишь подлинные факты, реальная жизнь того, кто скрывался под именем Юрия Кондратюка. Если мы сравним отражение нашего героя в трех зеркалах, в советском, израильском и в том, которое можно условно назвать американским (мой вариант), то убедимся: в основных деталях израильское и американское отражение чрезвычайно близки между собой. Кондратюк-Шамрай, как и Кондратюк-Шингер - блестящие изобретатели, жертвы советского режима, люди, которым не дали состояться в науке и получить мировое признание только оттого, что они несколько месяцев служили не в той армии, которую советские власти одобряют. Жестокость режима - вот единственное, что мешает Кондратюку (независимо от того, еврей он или русский) служить своей родине. Советское же тусклое зеркало преднамеренно скрывает свет, исходящий от этой яркой исторической личности. Газету "Известия" не интересует восстановление исторической справедливости. У автора статьи и у редактора - другое на уме.

Есть, однако, в статьях Вольфсона факты, которые кажутся мне сомнительными. Не верится, что двадцатилетний Самуил Шингер, имея за спиной лишь курс гимназии, без учителей и наставников сам мог взяться за разрешение проблем космических полетов. Александра Шамрая, как уже говорилось, толкнул на ис-

следования его учитель полковник Лашинский. Но если в биографии изобретателя был Лашинский, то значит было и военное училище, через которое Самуил Шингер, по словам Вольфсона, не проходил.

Мне кажется также, что герой, о котором мы пишем, должен быть старше. Год 1897 – год рождения Кондратюка, чьи документы попали затем в руки другого человека. Чтобы успеть закончить и училище и гимназию, Александр Шамрай должен был бы родиться годика этак на три раньше. Впрочем, это только догадки. Сомнительной кажется мне и служба еврея-интеллигента у Деникина. Есть место в статье Вольфсона, принять которое вообще невозможно. Я имею в виду эпизод, когда Самуил Шингер "предъявил большевикам паспорт на имя Юрия Кондратюка, белого офицера, умершего у него на руках". Во-первых, никакого "паспорта" военные в офицерском ранге не имели, удостоверение личности содержало упоминание о их чине и звании. Старики-военнослужащие из среды эмигрантов, которым я зачитывал это место в статье Вольфсона, высказались в том смысле, что при вступлении красных частей в украинский городок еврей без всяких бумаг был значительно в большей безопасности, нежели тот, что предъявил бы документ офицера белой армии. По логике вещей такого предъявителя скорее всего поставили бы тут же к стенке. Сомнительно также, что человек, работавший в 1941 на авиазаводе, был отправлен рядовым на фронт.

Последнее, что удивило меня в статьях Вольфсона, это полное отсутствие каких бы то ни было *личных* черт в описании героя. Если

автор действительно говорил с матерью и дочерью Горчаковыми, друзьями Шингера, то в их рассказе непременно должны были присутствовать факты, отражающие л и ч н о с т ь близкого человека. Женщины особенно склонны к личным оценкам. Увы, ни о каких конкретных чертах характера героя Горчаковы Вольфсону не поведали. Да и были ли они д р у з ь я м и покойного? Видали ли его когда-нибудь в глаза?

В заключение два слова о причинах, ради которых советский официоз пустился в столь многословные разглагольствования о судьбе давно умершего изобретателя. Антиамериканизм статьи Иващенко удивить никого не может. Это, так сказать, основное условие игры. Но в пору гласности и перестройки у автора и его редакторов возникла и другая причина для такого рода сочинений. Юрий Кондратюк вытащен из глубин государственного беспамятства вместе с другими убитыми и замученными писателями, учеными, деятелями культуры и искусства ради того прежде всего, чтобы продемонстрировать либерализм эпохи Горбачева. Нынешнее сравнительно молодое руководство сообразило, что вместо того, чтобы получать тычки и оплеухи от своих оппонентов по поводу преступлений прошлых генсеков, можно отречься от прошлого и продемонстрировать свою чистоту и непричастность. Собственно, от прошлого после Сталина отрекались все его наследники, но Горбачев первый сообразил, что никакие разоблачения режиму вреда не принесут, никаких д е й с т в и й, опасных для власти, народ (нынешний народ СССР) произвести, по его мнению, уже не способен.

Так возник шумный парад мучеников и жертв прошлого, объявляемых ныне честью, славой и гордостью советского народа. Устроителям этого гала-парада годится все: от стихов расстрелянного поэта Николая Гумилева, публикуемых ныне в "Огоньке", до научных трудов умершего в советской тюрьме от голода академика Николая Вавилова, чье столетие было пышно отпраздновано осенью 1987 года. Юрий Кондратюк - один из той команды реабилитированных посмертно. Нет, государство не приносит извинений за изуродованную жизнь, за страдания, нанесенные гению. Власть не желает даже признать всей горькой правды о великом изобретателе. Единственная цель публикации о покойном - извлечь из его трудов политическую выгоду.

Осмысление опыта

По существу, все творчество Солженицына посвящено судьбоносным, как их называет Дора Штурман, вопросам человечества, его вечным духовным интересам. Не удивительно, что его творчество и в том числе его публицистика, поднимающие огромный спектр важнейших вопросов жизни, вызывает и множество откликов и критики. В том числе и критики, весьма недобросовестной и несправедливой особенно со стороны некоторых представителей третьей волны эмиграции и со стороны некоторых деятелей и прессы Запада. Видимо, эта недобросовестная критика не только задевает чувство справедливости Доры Штурман, но задевает и ее собственную систему духовных ценностей. Она решается на огромный труд весьма тщательного разбора публицистики Солженицына с целью восстановления попранной справедливости и защиты высоких духовных ценностей человечества, лежащих в основе его творчества и разделяемых самой Дорой Штурман. Так появляется новая книга талантливой публицистки – "Городу и Миру"*.

Естественно, что, разбирая публицистику Солженицына, Дора Штурман высказывает и свои собственные взгляды, вступая по ряду вопросов в спор с Солженицыным. Солженицын и сам заявляет неоднократно, что он не претендует на "истину в последней инстанции" ("Я не имею конечного мнения") и тем приглашает к дискуссии. Так получается книга, в которой весьма живо обсуждается множество философских вопросов современности и подкрепляются вечные духовные ценности человечества. И Солженицын и Дора Штурман по общему мировоззрению и комплексу своих духовных ценностей определенно находятся в одном лагере и разговор между ними идет, по существу, лишь о более точной формулировке общей позиции. Тем более, что и история жизни и, следовательно, жизненный опыт обоих во многом аналогичны. Оба родились в стране социализма,

---

* Дора Штурман. "Городу и Миру". – Париж: изд. "Третья волна". 1988.

СССР. Получили обширный опыт социалистической жизни и знают советскую власть вдоль и поперек. Оба прошли чистилище Архипелага ГУЛаг. Оба относятся к учительской профессии. Оба сумели сохранить и необыкновенно обогатить свои человеческие души в нечеловеческих условиях социализма. Оба были вынуждены выехать из СССР и поселиться на Западе. Оба отвергают социализм и видят ряд принципиальных недостатков и у Запада. Вместе они видят огромную опасность для человечества в бездуховном материализме, в происходящем разрушении духовных ценностей и в обессмысливании жизни.

Публицистика Солженицына – это миллион мыслей, вызванных им на поверхность из глубин его мировоззрения и жизненного опыта. Книга Доры Штурман добавляет к этому миллиону ее собственный миллион, вызванный на поверхность из глубин ее собственного мировоззрения и жизненного опыта. Я уверен, что книга вызовет и у читателя его собственный миллион мыслей. И то же относится ко мне. Когда я читал книгу Доры Штурман о Солженицыне, у меня тоже возник и разбушевался миллион мыслей. Из всего огромного материала, представленного в книге, некоторые отдельные вопросы оказались мне особенно близкими, так как я и сам о них много думал и хотел бы в нижеследующем тексте высказать о них свое суждение.

В первом разделе книги, озаглавленном "Жить не по лжи", я обратил внимание на общую, Солженицына и Доры Штурман, идею, что ТОЛЬКО именно духовные силы населения СССР могут привести к падению тоталитаризма. Именно из этой предпосылки вытекает солженицынское "Жить не по лжи" с надеждой, что оно разрушит тоталитаризм социализма в относительно близком будущем. Из этой же предпосылки вытекает и уверенность Доры Штурман, что нет никаких оснований считать, что в СССР уже есть необходимые духовные условия для ликвидации социализма. Действительно, в СССР нет сложившейся массовой духовной оппозиции социализму. Нет и позитивной и достаточно распространившейся в массах программы для замены социализму. А когда не знаешь, за что бороться, победить в борьбе невозможно. Возникает, однако, вопрос, а как пришли к своей высокой духовной позиции сами Солженицын и Дора Штурман? Ведь родились-то они оба без всяких духовных ценностей в своих душах. Больше того, даже в своем детстве они едва ли уже получили много иных духовных ценностей, кроме таковых социализма.

Это только их последующий жизненный опыт привел обоих к их нынешним духовным ценностям.

Что касается меня самого, то и мои духовные ценности не свалились на мою голову с небес и внезапно. Повседневная ложь социализма, его несоответствие даже простому здравому смыслу были и для меня мощным воспитательным воздействием, работавшим против социалистической же пропаганды. Мне тоже удалось разобраться в античеловечности социализма. Причем мне не пришлось пройти совсем тех ужасных чистилищ, которые были суждены Солженицыну и Доре Штурман. Совсем наоборот, у меня была превосходная научно-техническая карьера, принесшая мне уйму почетных титулов, а за месяц до бегства на Запад – звание Героя социалистического труда. (Почему и как я бежал, я рассказал в своей книге "Западня"*.) На Западе оказалось много людей подобных мне. Оказалось даже много людей, принадлежавших в СССР к номенклатуре. (Как беспартийный я к номенклатуре не принадлежал, но хорошо знал многих и многих номенклатурщиков. Два или три номенклатурщика оказались моими бывшими учениками в области электроники.) Номенклатура оказывается неплохим резервуаром оппозиции социализму и трансформации духовных ценностей (как, впрочем, и реакционности и сильного сопротивления реформам). В СССР процесс пересмотра и трансформации духовных ценностей происходит на всех уровнях населения. Супернoменклатура от этого процесса и еще менее застрахована: она много более информирована обо всем и кровно вовлечена во все происходящее в стране. Всего 70 лет социализма (не в пример почти тысячелетнему существованию древнего римского государства, которое даже умирало 400 лет) привели к неоспоримо огромным изменениям в духовном состоянии населения СССР. Хочу еще раз подчеркнуть, что все люди рождаются без каких бы то ни было духовных ценностей.

Казалось бы, что 70 лет мощнейшей, всепроникающей пропаганды социалистических духовных ценностей должны были бы запечатлеть их навечно на "чистых досках" душ будущих советских граждан. Как может сравниться с советской пропагандой, не в обиду будь сказано, комариный писк призывов Солженицына, Доры Штурман и любых других людей с высокими общечеловеческими духовными ценностями? Однако СЛОВЕСА про-

---

* А. Федосеев. Западня. Человек и социализм. – "Посев", 1976.

паганды, сами по себе, ни на кого (я подозреваю даже на детей с их "чистыми досками" душ) не действуют. Поэтому советская пропаганда оказалась неспособной задавить переход от социалистических к общечеловеческим духовным ценностям.

Мне кажется, суть в том, что у человека (и общества) нет отдельно духовного и материального, а есть материально-духовный комплекс, изменяющийся и развивающийся в своем единстве с тесным взаимодействием и переплетением материального и духовного. Наша голова не может быть отделена от тела. Любая голова может быть "хорошей", но только если это позволяет достаточно "хорошее" тело. Именно социалистический жизненный опыт и притом чрезвычайно быстро привел нас троих, как миллионы других, к новому сознанию, к новому материально-духовному комплексу. И это вопреки колоссальному давлению социалистической пропаганды. Словеса любой пропаганды, в конечном итоге, оказываются бессильными против материально-духовного жизненного опыта. Словеса только могут подкреплять и закреплять жизненный опыт. Если рассматривать духовное содержание человека отдельно от всего комплекса, тогда просто не увидеть тех движущих сил, которые подрывают и разрушают социализм и его мировоззрение чрезвычайно быстро по сравнению со скоростью разрушения многих других режимов. Главную роль в превращениях играет инстинкт материально-духовного самосохранения (сохранения и своего материального существования и сохранения своего внутреннего духовного богатства). На тонущем корабле социализма этот инстинкт воздействует одинаково сильно и на пассажиров, и на команду, и на капитана. Значение солженицынской пропаганды в том, что она подкрепляется всем жизненным опытом советского населения, подсказывает "тонущим" духовный путь к материальному спасению. Она им нужна. Социалистическая же пропаганда противоречит жизненному опыту и помочь тонущим не может.

В отличие от Солженицына, я настойчивый "предрешенец". Я уверен в необходимости конкретной и полной программы для будущей России. Не имея конкретной и ясной цели, нельзя победить в борьбе. Нельзя победить также, если не понимаешь сути того, против чего борешься. Поэтому я всегда и настаиваю, что суть и корень зла социализма в государственной собственности, которая превращает людей в рабов единственного работодателя - государства, лишая людей независимых от государства средств существования. Буквально все

материально-духовные свойства социализма вытекают из единственного факта государственной собственности на средства производства.

Если теперь обозначить термином "демократия", используемым в книге, цель, за которую бороться, обязательно нужно объяснить, что в действительности имеется в виду под этим проституированным и потерявшим свой смысл термином. Если, например, определять демократию как систему свободных, многокандидатных выборов и многопартийности (плюрализма), социалистическая гласность этому определению вполне может в ближайшем будущем удовлетворить, но оставить в силе тоталитаризм социализма: единственный работодатель на всю страну останется единовластной, доминирующей тоталитарной властью в точности по поговорке: кто платит (зарплату), тот и музыку заказывает. "Свобода и независимость" будут только в строгих рамках и с разрешения властей. Как известно, страны социализма называют свой тоталитаризм высшим типом демократии. Древние греки, определяя демократию, как власть народа, подчеркивали, что ее суть во власти. Такое определение вполне подходило к их случаю государства в виде сравнительно небольшого города. Решения могли в значительной степени предприниматься скопом, коллективно, с помощью схода, вече и т. п. В современном многомиллионном государстве такое определение теряет свой прежний смысл. Современные энциклопедии сводят демократию к плюрализму партий, свободным выборам и правам человека. Во всех этих определениях ничего не сказано о типах собственности на средства производства. Грекам это и упоминать было не нужно: частная собственность преобладала.

Я хочу предложить для истинной демократии в наше (не древнегреческое) время другой термин (чтобы не продолжать путаницу) - "Общество социального равновесия" и определить его следующим образом. Общество и режим, дающие нам свободу независимой созидательной индивидуальной творческой деятельности, свободу каждому (независимо от "большинства" или "меньшинства") устраивать нашу индивидуальную жизнь по нашему желанию с соблюдением, конечно, правил общежития. Именно с соблюдением правил общежития. Свобода для одних не должна быть насилием над другими. Роль государства (конституционно ограниченного и в функциях, и в численности аппарата, и в финансах) должна сводиться к организации должного взаимодействия между нашими личными эгоистическими интересами и потребностями и нашими же (пожалуй, не менее эгои-

стическими по отношению к окружающему нас миру) коллективными интересами и потребностями. В этом, мне кажется, заключается смысл и назначение нормального человеческого государства. Государственное управление должно быть децентрализованным с центром ФИНАНСИРОВАНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ в самом нижнем "этаже", в общинах (эквивалент местным советам), находящемся под прямым воздействием населения этих общин. Для создания такой демократии есть только единственный способ: мы должны трансформировать ВСЮ (за очень небольшим исключением) государственную собственность в частную и, НА ПЕРВОЕ ВРЕМЯ, в общественную, т. е. в собственность коллективов трудящихся артелей, кооперативов и акционерных компаний. Настоящей демократией является, однако, только общество с полным преобладанием именно частной (не общественной) собственности с истино свободным КОНКУРЕНТНЫМ рынком, без монополий и чрезмерных гигантов. (Смотрите, например, мою статью об этом в № 52 "Континента" или мою книгу "О Новой России. Альтернатива", изданную в 1980 г.) Кстати, Общество социального равновесия (настоящая демократия) полностью решает и национальные и религиозные вопросы точно так, как они полностью решены в единственной стране в мире – в Швейцарии. Настоящая демократия обеспечивает и полное возрождение в обществе христианской морали, так необходимой для его хорошего функционирования. Такая, противопоставленная социализму, программа будет постепенно доводиться до сознания масс самой практикой социалистической жизни, как это произошло с самим Солженицыным, Дорой Штурман и миллионами других. Словесная и письменная пропаганда такой программы может прояснять отрицательный опыт социалистической жизни и тем существенно ускорить процессы крушения социализма.

Политическая структура социализма потребовала полного уничтожения многих миллионов людей, чтобы разрушить прежний строй (строй состоит именно из людей) и осуществить единовластие, без которого нет слциализма. Истинная демократия это ЕСТЕСТВЕННОЕ состояние для людей. Вопреки известным клише, истинной демократии учить нечего. Каждый знает, как нужно действовать среди других, если он над ними не господин: мирно договариваться и идти на компромисс. Именно с истинной демократии начиналось и будет начинаться любое человеческое общество, если оно возникает естественным, а не силовым способом. Для истинной демократии нет необходимости никого уничто-

жать. В истинной демократии пригодны все люди без исключения, от социалистической уборщицы до бывшего члена Политбюро. Даже не будет необходимости всех снимать со всех постов, так как и при социализме существовали функции, которые нужны и при демократии. Опыт многих бывших номенклатурщиков может пригодиться и в демократии.

В разделе "Солженицын и демократия" я тоже обнаружил обычное для любой литературы обсуждение вопросов демократии без определения того, что этот термин означает. Эта разноголосица очень интересна и многие мысли ведут к моему же определению демократии, но оставляют материальную сторону материально-духовного единства за пределами обсуждения. Кстати, множество людей, дезориентированных туманом термина "демократия", просто открещиваются от демократии, как от черта, считая ее бедствием. Возможно, что именно поэтому Солженицын предлагал перед плюрализмом в качестве временной меры авторитаризм.

Раздел "Солженицын и Запад" демонстрирует, мне кажется, опять разрыв между духовностью и материальностью в высказываниях и Солженицына, и Доры Штурман. Оба поэтому придают несоразмерное значение политике Запада в борьбе с коммунизмом и боятся, что Запад может быть пожран коммунизмом. Солженицын все же считает, что освобождение России произойдет изнутри и даже, может быть, при его жизни. Дора Штурман считает, что это может быть только чудом (сс. 320 и 321). Отрыв духовного мира человека от его материально-духовного единства делает границу между сугубо материалистическим социализмом и новым человеческим, много более духовным обществом непереходимой без соответствующего воздействия извне. При этом возникает уйма противоречий в смысле неприятия насилия и одновременной поддержки его для "правой" цели. Солженицын в этом вопросе следует блаж. Августину (354–430 гг.) и тоже объявляет войну правого государства против неправого необходимым меньшим из двух зол. Рассматривая материальную и духовную стороны человека как неразрывное единство, мы перестаем нуждаться в противоречиях и в объяснении, откуда берутся правильные, высокодуховные люди, если все они рождаются отъявленными эгоистами без всяких духовных ценностей. Обе стороны человека действуют друг на друга и ИЗМЕНЯЮТ друг друга. Движущей силой в разрушении социализма и в трансформации духовных ценностей является инстинкт самосохранения людей, как материально-духовных единств, развиваю-

щихся и изменяющихся именно в обществе и именно в сторону лучшего самосохранения. Эффективность общества, его соответствие человеческой природе не могут быть осуществлены без действия высоких духовных ценностей, к которым призывают Солженицын и Дора Штурман. Однако эти ценности представляют собой не исходные, а завершающие стадии материально-духовного развития на пути совершенствования человека и человеческого общества.

Солженицын, как и Дора Штурман, отмечают взаимосвязь наций и государств и необходимость глобальности в политике. К сожалению, оба не дают определения этой глобальности. Ведь социализм тоже предполагает единое глобальное общество под единым и, конечно, разумным управлением. Международные банки и гигантские корпорации Запада стремятся к той же цели, используя деньги как средство управления мировым человечеством вместо административного и политического насилия марксистского способа. Таким образом, Западу нет смысла разрушать социализм Востока, чтобы потом его снова вводить другим способом. Это легко объясняет все экивоки взаимной политики Запада и Востока, включая просоветизм Запада. Смысл этих экивоков в том, чтобы решить, кто будет в мировом правительстве: советские политические вожди или финансовые западные вожди, или те и другие вместе, а не в противопоставлении "двух" систем. На мой взгляд, и то, и другое, и третье гарантируют одинаковый ад. К счастью, ни то, ни другое не произойдет, так как человечество в ходе тысячелетий постепенно, а последние 100 лет весьма ускоренно, превращается из неграмотных темных однородных масс в колоссальное многообразие уникальных, творческих, соображающих личностей, которые не потерпят никаких социализмов и для которых Общество социального равновесия будет наиболее подходящей общественной структурой. (Конечно, до следующей, еще более подходящей.) Положительная же глобальность может быть создана через международные связи и международную торговлю с международным судом и арбитражем, без централизации и концентрации управления миром в мировом единственном правительстве. Чрезвычайно любопытно, что премьер-министр Англии, миссис Тэтчер недавно заявила (впервые в мире), что она решительно против даже "Соединенных Штатов Европы", так как они нарушат суверенитет наций и их правительств. Она считает, что это вредная и абсурдная затея.

Следующий раздел, "Солженицын и национальный вопрос", как и предыдущие, имеет дело опять с целым спектром вопросов нравственности и духа, сфокусированных на национальном вопросе. Мне кажется, что в этой области взглядов позиции Солженицына, Доры Штурман, миссис Тэтчер (и мои) совпадают. Солженицын считает, что нации это богатство человечества. Я хотел бы добавить, что именно многообразие наций, как всеобщее многообразие природы и вселенной, есть единственный способ развития и природы и человечества. Однообразие исключает возможность и материального и духовного развития.

Национализм и патриотизм являются положительными духовными ценностями и включают в себя уважение к любой другой нации, право на самоопределение и взаимное сотрудничество наций во всем их многообразии характеров и проявлений. Противопоставлением патриотизму является шовинизм, возвеличивающий свою нацию путем принижения и очернения других наций, доходящий в этом даже до применения насилия. В любом народе есть и патриоты, и шовинисты. Патриоты могут критиковать свою нацию и стремиться не допускать шовинизма. Шовинисты всегда критикуют не свою, а другие нации и тем выделяются и обозначаются. И "революционный", марксистский, и "финансовый" социализмы стремятся ликвидировать богатство многообразия наций, нивелировать нации, превратить человечество в однородную стандартную массу, легко управляемую из одного мирового центра. Оба автора (я тоже) выступают резко против международной свары и шовинизма. Рецепт для их преодоления дается Солженицыным в виде необходимости для людей раскаяться в своих грехах и вернуться к взаимному пониманию на основе высоких ценностей духа.

История развития человечества свидетельствует о постепенном переходе человечества от многотысячелетних насилий друг над другом к более мирному существованию развитых наций. Рост производительности труда и высокий уровень жизни развитых наций сделал ненужным и неприемлемым для них вооруженное насилие над другими национальными государствами. Эта историческая тенденция, действуя через материально-духовное единство человека, является исходной ступенью, ведущей к завершающей ступени более высокого духовного совершенства и, конечно, снова не для всех людей. Многие останутся, например, отъявленными шовинистами, а не патриотами. Некоторые же и вообще недалеко уйдут от бездуховного пещерного человека.

Мне кажется, однако, неестественным раскаиваться в этих исторических грехах человечества, которые имеются у любой, без исключения, нации. Я бы предпочел просто использовать богатый, конкретный и конструктивный опыт мирного сосуществования и сотрудничества наций в Швейцарии. (В моей, уже упомянутой, книге этот опыт довольно подробно описан.) В Швейцарии общинная система (в общинах можно даже принимать решения сходом или вече) обеспечила ощущение людьми прямой связи между их личными интересами и их же коллективными, т. е. государственными. Свидетельством этому являются, например, результаты двух референдумов. На одном – швейцарцы отвергли уменьшение их длинного рабочего дня. На другом – отвергли понижение пенсионного возраста. Они, как видно, отлично понимают, что их исключительное процветание создается их же собственным трудом, а не обеспечивается какой бы то ни было "демократической" говорильней или законами. То же относится и к национальному вопросу: если любая нация в едином государстве может жить полностью по своим традициям и способам, со своим языком, нет почвы для сепаратизма и национальной розни. Дискуссия о том, кто виноват, кому нужно каяться, мне кажется просто совершенно бесплодной. В то же время перспективы всеобщей поддержки духовной позиции Солженицына и успеха его пропаганды по остальным вопросам, мне кажутся очень благоприятными. Человечество движется на протяжении веков в положительную сторону, и глас Солженицына (и Доры Штурман) не останется втуне, закрепляя положительное развитие материально-духовного единства человечества.

В следующей главе, "Солженицын и плюралисты", мы наблюдаем столкновение двух мировоззрений: фальшивого, так называемого "плюрализма" и, я бы сказал, истинного плюрализма Солженицына и Доры Штурман. "Плюралисты" стоят за плюрализм как самоцель, не отличая добро от зла, правого от неправого, низменного от высокого. Для них все кажется нужным. Это прямо вытекает из отрицания "плюралистами" существования абсолютных ценностей добра, истины, справедливости, совести. Для них все эти понятия относительны, и поэтому добро запросто может оказываться злом в зависимости от обстоятельств и самих людей. В этом вопросе тоже есть насущная нужда в сформулированных определениях абсолютного и относительного. Действительно, едва ли можно отрицать в наше время, что вне нашего сознания и помимо его – существует абсолютная реальность окружающей нас все-

ленной. В то же время, наше знание этой абсолютной реальности не только неполное, но и относительное, так как разные люди, разные ученые представляют себе эту абсолютную реальность по-разному, в соответствии с относительностью их знаний и точек зрения. Это не мешает, однако, человечеству стремиться к познанию абсолюта. Солженицынская справедливость войны против тоталитаризма, конечно, относительна, но это не мешает Солженицыну (и блаж. Августину) верить в существование истинной, не относительной справедливости. Естественно также, что каждый из нас, покупая товар, считает справедливой не всегда именно ту цену, которую считает справедливой продавец. Такие различия, однако, не мешают каждому обращаться в суд в поиске истинной, абсолютной справедливости. И это не существенно, что и суд не владеет даром определения абсолютной справедливости. Мы уверены, что истинная, абсолютная, независящая от взглядов людей справедливость существует. И это тоже не существенно, что каждый думает, что истинная справедливость именно на его стороне. Даже в суждениях индивидуумов можно иногда обнаружить большее или меньшее присутствие веры в абсолютное. Вся идея социализма возникла из уверенности, что не только абсолютная справедливость существует, но что человеческий всемогущий разум может ее и сформулировать, и осуществить. Эти поиски абсолютных ценностей продолжаются (часто с помощью отъявленного насилия) и будут продолжаться, пока человечество существует.

Итак, "плюралисты", имея дело с временными взглядами людей, с их собственными, действительно относительными и изменяющимися ценностями, нашли для себя удобным упростить, примитивизировать дело, отказав абсолютным ценностям в существовании. Конечно, конкретность куда проще. Однако разве не было таких "плюралистов", которые, попав, скажем, ни за что ни про что в Архипелаг ГУЛаг, начали задумываться о существовании истинной (абсолютной) справедливости. Справедливости, которая не зависит от политического строя, от властей, от взглядов конкретных людей? Жизненный опыт и здесь может изменить относительность материально-духовного единства "плюралиста" в сторону признания им существования абсолютных духовных ценностей. Релятивизм, непризнание существования абсолютных ценностей духа, отказ от поисков этих ценностей очень моден в наше время. Существенно, что этот отказ от поиска абсолютного отрезает человечеству пути к совершенствованию. Раз нет

абсолютных ценностей духа, некуда и двигаться, незачем совершенствоваться. Нет никаких оснований сомневаться, что человечество преодолеет это заблуждение и продолжит свое стремление к совершенству. Солженицын и Дора Штурман смотрят в будущее. Должен признаться, что, только прочитав книгу Доры Штурман, я увидел фигуру Солженицына во весь его необычайный рост и понял, как много значат для человечества такие люди, как он. (Кстати, мне кажется, что я теперь понял, что "архаичность" словаря и неудобные для восприятия особые обороты речи Солженицына могут объясняться тем, что наш, русский – как я заметил, и английский тоже – язык потерял свою точность, выхолостился, требует какого-то обновления. Солженицын может это чувствовать больше всех нас и это заставляет его идти на свои, довольно иногда неприятные, "выкрутасы", так как обычный строй слов превращает даже необычные мысли в обычные клише и шаблоны.)

Я уверен, что чтение книги Доры Штурман составит не только удовольствие для очень многих, но и возбудит у них необыкновенно много интересных мыслей. Результат труда Доры Штурман вышел далеко за пределы поставленной ею себе цели.

А. Федосеев

Только одна жизнь *

Говорят, что писатели и поэты должны жениться на своих вдовах, т. е. должны подумать о том, к о м у оставят свое литературное наследие, кто бережно сохранит его и распорядится архивом. И кто умно, правдиво и доброжелательно расскажет о них незнакомым будущим читателям.

Мы знаем, что в России были необыкновенно жертвенные вдовы. Достаточно вспомнить сизифов труд Надежды Яковлевны Мандельштам и Марии Степановны Волошиной. Конечно, не все вдовы работали в таких трудно выносимых условиях, как эти две мужественные

---

* Иван С а в и н. Только одна жизнь. 1922-1927. Изд. L. Sulimovsky. 119 E. Kennedy Blvd., Bldg. 9, # 9, Lakewood, N. J. 08701 USA.

женщины. У нас в эмиграции, в наши по-своему трудные для писателей дни тоже есть удивительные женщины, добровольно взявшие на себя огромный труд по сохранению литературного наследия их мужей.

Такой жертвенной женщиной можно считать Людмилу Владимировну Сулимовскую, вдову известного поэта и прозаика русской эмиграции Ивана Савина. Критики называли его "Поэтом белой мечты".

Людмила Сулимовская пережила своего мужа на десятки лет, но все эти долгие и временами трудные для нее годы, бережно хранила светлую о нем память. Это она, покуда хватало здоровья и сил, устраивала вечера в годовщины его смерти, это она бескорыстно выступала с лекциями о его творчестве и с воспоминаниями о нем. И, наконец, сейчас, к только что минувшей 60-летней годовщине кончины Ивана Савина, собрала всё, что можно было собрать из литературного наследия Савина и издала книгу, которую назвала "Только одна жизнь - 1922-1927", т. е. одна трагически короткая творческая жизнь, оборвавшаяся на пятом году свободы.

Л. Сулимовская живет в США, в тихом городке штата Нью-Джерси. Живет совершенно одна - из-за болезни ног прикованная к креслу, но неизменно приветливая, гостеприимная и добрая к человеку и зверю. Несмотря на преклонные свои годы, разум ее светел, мысли она выражает четко, рассказывает живо и трепетно интересуется судьбой с в о е й книги. "Мне хотелось, чтобы как можно большей людей всех эмиграций знали о Савине", - вот лейтмотив ее бесед. "На закате моей жизни я собрала всё, что не пропало в Праге, в Русском заграничном архиве...", - пишет Л. Сулимовская в предисловии к книге. (Составлять книгу ей помогал Р. Полчанинов.)

Сейчас Ивану Савину было бы почти 90 лет. Он мог бы умереть совсем недавно, или лет 10-15 тому назад. А мог бы еще и жить... Но он умер очень давно двадцати восьми лет отроду.

Редко кого в русской эмиграции любили так, как любили этого рано ушедшего из жизни поэта и прозаика. О нем много писали, причем не "по долгу службы" и не по знакомству и, конечно же, не корысти ради, а именно ради любви и, если хотите, - писали с нескрываемым чувством боли и восхищения. Писали не просто чувствительные люди, а совсем несентиментальные по отношению к собратьям по перу писатели и литературоведы — например, И. Бунин и Г. Струве.

В очень русской по облику квартире Л. Сулимовской (первая эмиграция умела сохранить особенную русскость

– даже в очень специфическом американском быту) есть фотография Репина с его дарственной надписью: "Необыкновенно красивому Ивану Ивановичу Савину, на добрую память. Илья Репин, 1926 год". А после смерти Савина Репин пишет вдове: "Я всегда мечтал, глядя на этого красавца малороссиянина, написать его портрет... Какая невознаградная потеря".

Действительно, Савин был очень красив. Глядя на его фотографии (они есть в книге), даже не художник невольно спросит: "Кто этот необыкновенно красивый человек?"

*

Иван Иванович Саволайнен, писавший под псевдонимом Иван Савин, родился в Одессе, но вырос в маленьком провинциальном городке Зенькове, полтавской губернии. По крови он почти не русский. Ошибочно считали его чистокровным финном, но Л. Сулимовская пишет еще о двух примесях иностранной крови: молдаванской и греческой. Только бабушка по материнской линии у Савина русская. Однако Иван Иванович был всю свою жизнь русским патриотом, беззаветно любившим Россию, воевавшим за нее и потерявшим своих близких в трагическое время революции и гражданской войны. Двое старших братьев были расстреляны в Крыму. Пятнадцатилетний доброволец Коля был сражен шальной пулей. Брат Борис зарублен в бою под Каховкой. Савин посвятил стихи всем погибшим братьям. Вот начало стихотворения, посвященного брату Борису.

Не бойся, милый. Это я.
Я ничего тебе не сделаю.
Я только обовью тебя,
Как саваном, печалью белою.

Я только выну злую сталь
Из ран запекшихся. Не странно ли:
Еще свежа клинка эмаль.
А ведь с тех пор три года канули...

(стр. 175)

Стихотворение, посвященное расстрелянным братьям Михаилу и Павлу, кончалось этими, часто цитируемыми строчками:

И плыл рассвет ноябрьский над туманом,
И тополь чуть желтел в невидимом луче,
И старый прапорщик, во френче рваном,
С чернильной звездочкой на сломанном плече,

Вдруг начал петь – и эти бредовые
Мольбы бросал свинцовой брызжущей струе:
Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое...

Иван Савин воспел подвиг Белого движения и оплакал павших героев его. Многое из сохранившегося творчества Савина можно назвать "Венком на могилу Белого Воина".

После падения Перекопа больной тифом врангелевец Савин попадает в плен к красным. Чудом избегает он расстрела. Пробравшись в Петербург и воспользовавшись своим финским происхождением, в 1922 году Савин уезжает в Финляндию.

В эмиграции сразу же полюбили молодого поэта и прозаика, печатавшегося во всех серьезных зарубежных журналах и газетах. Был он вхож в дом Репина, ценившего этот молодой еще талант. "Я совсем очарован Вашим дивным фельетоном, причиной появления которого на свет посчастливилось быть мне грешному" (впервые цитируется из неопубликованного письма Репина). К сожалению, фельетон, посвященный Репину, не сохранился. Был Савин редактором, организатором литературных кружков и вечеров, умел рисовать, играть на рояле, был он и актером... Здесь же в Финляндии на вечере литературного кружка встретил он свою будущую жену – русскую девушку, любившую литературу и искусство. В 1924 году Людмила Владимировна стала женой Савина.

"Писал он всегда и полубольной и здоровый... Будучи здоровым, очень любил общество", – вспоминает Л. Сулимовская. "Полубольной и здоровый". Дело в том, что прошлый ужас периодически давал себя знать. Савин страдал припадками депрессии. В острые периоды этой болезни боялся оставаться один, боялся наложить на себя руки.

Умер Иван Савин в 1927 году от заражения крови после, по-видимому, плохо сделанной операции аппендицита. "В горячую душную ночь, около четырех часов утра, Савин нацарапал на листке бумаги: 'вспрыснуть морфий... доктора'. Но было поздно. Укол не помог. Поэт затих и долго смотрел прямо перед собой в огром-

ное окно, куда заглядывали ветки деревьев, потом осенил себя широким крестным знамением и сказал ясно и тихо: 'Господи' ", - пишет в предисловии Л. Сулимовская. Похоронен Иван Савин в Финляндии.

*

Обложка книги "Только одна жизнь" - работы известного художника Сергея Голлербаха. Черными буквами выведены имя автора и название книги. Под названием черный букетик полевых цветов - среди них ромашки. (Перед самой смертью Савин просил жену рассказать ему - как пойдут они оба к русской границе собирать его любимые цветы - ромашки.)

Книгу можно разделить на три части: вступительные статьи составителей Л. Сулимовской и Р. Полчанинова, проза и поэзия Савина и литература о нем. Каждая из этих частей необыкновенно ценна, т. к. дополняя одна другую, все три воссоздают человеческий и творческий облик Ивана Савина.

В предисловии Людмила Сулимовская говорит о замысле издания и смысле этой книги. Затем приводит ценные биографические данные, без которых не может быть полного восприятия творчества Савина.

Р. Полчанинов дополняет библиографические справки новыми данными о переиздании поэтического сборника Савина "Ладонка". Полчанинов пишет и о судьбе Савина и о его творчестве.

*

Произведения автора в книге начинаются с прозы. Благодаря трем изданиям "Ладонки", Савин в русской эмиграции (особенно второй) известен больше всего как поэт.

Мне кажется, не нужно особенно увлекаться сравнением савинской прозы и поэзии. Оба жанра у него "перекликаются" - прав Р. Полчанинов. И в прозе и в стихах та же большая тема: Россия, - битва за нее и боль за ее потерю.

Автобиографическое повествование "Плен" перепечатано с полуистлевших страниц. Л. Сулимовская пишет, что кое-что утеряно, пропущено. Нужно еще раз подчеркнуть, что "Только одна жизнь" далеко не исчер-

пывает литературного наследия Савина. Многое, к сожалению, потеряно. Притом Савин не любил черновиков – замыслы держал в голове. Так нет черновиков задуманного им романа из пушкинской эпохи, которую автор штудировал, целыми днями сидя в Гельсингфорсской университетской библиотеке. Писал он и пьесы. Одна из них – "Молодость" сохранилась в архиве Сулимовской.

Внимательно прочитав повествование о плене (м. б., эта вещь являлась частью большой повести), можно предположить, что русская литература потеряла в лице Савина своего будущего значительного прозаика.

Трудно писать о литературных качествах произведения, когда каждая строчка кровоточит, когда снова и снова спрашиваешь себя: как могло такое быть? Но Иван Савин – писатель. И сказать хотя бы несколько слов о его Ремесле (в понятии К. Павловой и Цветаевой) нужно.

"Плен" начинается галлюцинацией – тифозным бредом: "По серому больничному одеялу шагал крошечный Наполеон. Помню хорошо, вместо глаз у него были две желтые пуговицы, на треугольной шляпе красноармейская звезда, а в левой, крепко сжатой в кулак, руке виднелась медная проволока. Наполеон шагал по одеялу и тянул за собой товарные вагоны.." И снова продолжающийся кошмар: "Наполеон шагал по одеялу, звенел шпорами из папиросной бумаги, просачивался сквозь серую шерсть, таял, и из пыльной груды вагонов выползала Веста – охотничья собака старшего брата..." Когда в сознание больного вошла действительность – "у дверей стоял санитар в черной шинели с коричневым обшлагом на рукаве и говорил дежурной сестре эти невероятно глупые слова: 'Перекоп взят' " (стр. 21–22).

Дальше идет вполне реальная действительность. Обильные диалоги пересыпаны местными наречиями и смачным простонародным жаргоном. Люди вполне реальны. Например, Поликарп Кожухин, за шесть лет носивший мундир семи армий. Или Микитка – нечто худшее, чем зверь: жестокое, жадное, хищное и глупое существо, с явным удовольствием выполнявшее импровизированные – развлечения ради – приказы: " 'Микитка, звездани яво по зеркалу!' И Микитка звезданул. Я упал на калмыка, из носа пошла кровь...". В этом повествовании два кошмара: тифозный, бредовой и кошмар реальный. Оба находятся в резком контрасте друг с другом: действительный кошмар гораздо страшнее бредового, сюрреалистического с маленьким Наполеоном со

шпорами из папиросной бумаги и с красноармейской звездой на треуголке. В реальном кошмаре четко работает убийственная мысль: "Для нас, для 'врангелевцев' чистой воды, трагическое завершение белого движения было смертельным ударом. Он убивал в тех, кто плыл в эти безысходные дни к босфорским берегам, последнюю надежду на возобновление борьбы за русскую Россию. В нас, попавших в красный плен, он убивал и эту надежду и самую жизнь" (с. 42).

Рассказ о расстреле психологичен. Он о том, что чувствуют и о чем говорят люди, неправо осужденные на смерть. В литературе тема эта не нова. Нобелевский лауреат Габриэль Гарсия Маркес построил свой знаменитый роман "Сто лет одиночества" на воспоминаниях человека, стоящего под дулами карательного отряда. Есть даже романы, начинающиеся примерно с таких строк: "Я умерла 8 ноября 1972 года". Это, конечно, хорошо придуманные и продуманные литературные приемы. Иван же Савин пережил то, о чем он писал. Но писал он не хронику событий, а художественный рассказ о них. Нужно еще отметить, что в его творчестве доминируют не гнев, не злоба и ненависть, а боль, – боль за потерянную "русскую Россию".

"Дроль" – пожалуй, один из лучших рассказов в книге. Быть может, этот рассказ можно отнести к т. н. жанру абсурда Альбера Камю. Савин рисует человека со щедрой и высокой душой, готового на любые жертвы ради любимой женщины. Но душа этого современного рыцаря облечена в смешную и даже уродливую оболочку. Дроль был лыс, притом был он "толст неимоверно, близорук до такой степени, что, натыкаясь на тумбу с афишами или телеграфный столб, снимал шляпу и бормотал извинения" (с. 65). Избранницу его сердца, жестокую и пустую кокетку, природа наделила необычайной красотой. По глупости гибнет она, и добровольно разделяет ее участь смешной человек по кличке Дроль. В этом рассказе Савин мастерски говорит о ничем необъяснимой, абсурдной дисгармонии внутренних и внешних качеств человека.

Есть в книге очень хорошие зарисовки прошлого русского, добротного и уютного быта, потерянного навсегда и ностальгически вспоминаемого этим автором с нерусской кровью. Есть интересные с психологической точки зрения характеры, хотя психология как таковая вряд ли интересовала Савина. Можно особенно отметить полубыль-полусказку "Лимонадная будка". Здесь одушевлены неодушевленные предметы, окружающие безумного и бездомного музыканта Мишу. Жил этот

полусвятой и полуюродивый в будке, в которой летом продавался лимонад. И будка, и Миша были русскими эмигрантами. Только будка, несмотря на свой более почтенный возраст, приспособилась к жизни на чужбине гораздо лучше, чем Миша, может быть, потому что не обладала она Мишиной безумной русской артистической натурой.

В послании к воображаемому внуку (детей у Савиных не было) автор осуждает свое поколение за недовольство жизнью, за то, что "пробили голову нашему прошлому, выкололи глаза у будущего, оклеветали самих себя..." "А жизнь одна... Не двадцать, не миллион, а одна!" (Должно быть, эти слова дали Людмиле Сулимовской идею названия книги.) Заканчивается очерк призывом: "Не опрокидывай жизни вверх дном! И не делай революций... Бог с ними..." Напечатан очерк был в 1927 году, т. е. в год смерти Ивана Савина.

В разделе поэзии воспроизведена обложка работы Л. Ковалевской к первому изданию "Ладонки" и авторский проект обложки. (Нужно отметить, что, как и многие известные поэты различных национальностей, Савин умел хорошо рисовать.) Перепечатана и вступительная статья В. Даватца к первому изданию сборника.

В выборе стихов для "Только одной жизни" составители, наверное, следовали совету Юрия Терапиано. Он отобрал, с его точки зрения, лучшие стихи поэта, пометив их знаком Х. В 1952 году Терапиано писал Сулимовской, что их "хотелось бы напечатать где-нибудь. М. б., в Париже возникнет хороший литературный журнал, тогда попрошу Вас прислать мне 'часть Х'... Если когда-нибудь у Вас явится возможность переиздать стихи Савина (отобранные) с краткой его биографией, я охотно помог бы Вам в составлении сборника..." Увы, Юрий Терапиано не дожил до составления такого сборника. Зато Ренэ Герра, составитель недавно вышедшей книги Терапиано о русской литературной жизни в Париже, поместил статью Терапиано о Савине, хотя тот в Париже никогда не жил. Наверное, это же самое сделал бы и сам Юрий Терапиано, зная, как любили в свое время этого поэта русские парижане.

Чем же особенна поэзия Ивана Савина? Что расположило к ней многих, совершенно различных по таланту и темпераменту писателей, поэтов и критиков русской диаспоры?

Думается, что самое главное в этой поэзии – ее необыкновенно искреннее чувство страдания, душевная мягкость даже в самых героических стихах и вера в

поэтическое призвание. Эпиграфом к стихам Савина могут быть эти его строки:

...А я на коне,
Набегая, как хрупкая шлюпка
На девятый, на гибельный вал,
К голубому слову - голубка -
В черном грохоте рифму искал. (с. 186)

По настроению в лучших своих стихах героика Савина близка героической романтике Гумилева.

...Зевнули орудия, руша
Мосты трехдюймовым дождем.
Я крикнул товарищу: "Слушай,
Давай за Россию умрем!"

В седле подымаясь, как знамя,
Он просто ответил: "Умру".
Лилось пулеметное пламя,
Посвистывая на ветру...
(из сб. "Ладонка")

Если с холодным вниманием рассмотреть некоторые стихи молодого (очень еще молодого!) поэта, то в них, конечно же, найдешь слабые, невоплощенные в большую поэзию строчки. Но рассматривать т а к стихи Ивана Савина нельзя. 28 лет - возраст Лермонтова. Да, Лермонтов успел стать вторым самым значительным поэтом России. Но прошел ли он тот страшный путь, который прошел Савин? Лермонтов был сослан на Кавказ. Но эта ссылка в красивейшие экзотические места стала для него неисчерпаемым источником вдохновения, стала лермонтовской "болдинской осенью". Возраст обоих поэтов невольно толкает на в общем ненужные сравнения. Хочется лишь отметить, что вопрос здесь не только в степени таланта. И прибавить, что в начале эмиграции Савин сколачивал на заводе ящики. И все-таки за короткий, пятилетний отрезок времени он успел стать поэтом.

...И любил я, и верил, и снами
Несказанными жил наяву,
И прозрачными плакал стихами
В золотую от солнца траву... (с. 188)

Можно рассуждать - в каком жанре Савин преуспел больше - в прозе или в поэзии? Вопрос этот сложный

и спорный. Думается, что из всех искусств, которые он любил, – поэзия была его настоящей стихией. Он был человеком с поющей душой:

...Я в сердце вспрыскиваю пряный
Тягучий кокаин стихов.

О, капли звонкие отравы,
О, певчие мои слова!.. (с. 193)

И до конца дней была у него в душе Россия.

...Черкнув крылом по глади водной,
В Россию чайка уплыла –
И я крещу рукой безродной
Пропавший след ее крыла. (с. 187)

*

Часто приходится слышать довольно справедливые слова о равнодушии эмигрантского писателя к собрату по перу и о безразличии читателя, невозвратно уходящего в чужой быт. Поэтому отрадным явлением можно считать отношение и писателей, и читателей к Ивану Савину. Память о нем бережно сохраняется в эмиграции вот уже 60 с лишним лет. (Конечно, нельзя недооценить деятельность Людмилы Владимировны Сулимовской.)

Ивана Савина любят и ценят искренне и верно очень многие. Об этом удивительном явлении свидетельствует конец книги "Только одна жизнь". Здесь собран материал, напечатанный от 20-х по 80-е гг.: некрологи, рецензии, статьи, отчеты о вечерах памяти Ивана Савина и стихи, посвященные ему. Имена авторов значительны: Иван Бунин, Юрий Айхенвальд, Глеб Струве, Юрий Терапиано, Иван Елагин и другие умершие и ныне здравствующие достойные авторы русской эмиграции.

Исключительно интересна рецензия Ивана Елагина на сборник "Ладонка", в 1959 году напечатанная в "НРС". Это единственная написанная Елагиным рецензия за всю его долголетнюю карьеру американского профессора-слависта – случай весьма редкий. Мне достоверно известно, что Елагин очень любил стихи Савина. Перед самой своей смертью он советовал мне напечатать Савина в альманахе "Встречи" в разделе "Зарубежного поэтического наследия". В своей статье поэт особенно

отмечает близкий ему гражданский пафос савинской лирики: "Русская гражданская поэзия знает блестящие удачи. "Ладонка" – сборник стихов Ивана Савина – одна из таких удач" (с. 215).

"У него был свой, приглушенный, но подлинно поэтический голос", – пишет Г. Струве. "Он жил в поэзии, любил поэзию...", – вспоминает П. Пильский.

Некролог И. Бунина озаглавлен "Наш поэт". Есть там пронзительно эмоциональные строчки, и вот эти веские слова: "То, что он (Савин. – В. С.) оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе..." (с. 208).

Будем надеяться, что книга Ивана Савина "Только одна жизнь" напомнит старым читателям о рано ушедшем из жизни поэте "Белой мечты", познакомит с ним новых читателей и найдет путь к читателям в России, которую так жертвенно и даже молитвенно любил Иван Савин.

Я походные песни, как свечи,
Перед ликом России зажгу.

Валентина Синкевич

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

В е р т л и б Евгений Александрович, род. в 1943 году в Ленинграде. Окончил филфак ЛГУ, затем аспирантуру университета Сев. Каролины (США, 1983), доктор наук, профессор. Член ПЭН-клуба. Публиковаться начал с 1960 г. Критик, публицист, поэт, автор трех романов. В 1975 году выехал из СССР. На Западе публикуется в научных изданиях и в русской периодике. В настоящее время живет и работает в Зап. Германии.

К о й т Андрес – об авторе нет никаких сведений. Редакция располагает его рукописями, попавшими на Запад из СССР, по нашим подсчетам, около трех-четырех лет назад. Редакция будет признательна за любые сведения об этом авторе.

К у б л а н о в с к и й Юрий Иихайлович, род. в 1947 г. Окончил искусствоведческое отделение МГУ. В октябре 1982 г. под давлением угрожавшего ему КГБ был вынужден эмигрировать. Автор трех книг: "Избранное" (сост. И. Бродский, Ардис, 1981); "С последним солнцем" (La Press Libre, 1983); "Оттиск" (YMCA-PRESS, 1985). Автор очерков, эссе и критических статей, регулярно публикующихся в периодике русского зарубежья.

М у р а в ь е в а Ирина, род. в Москве в 1952 г. По образованию филолог. В Москве занималась переводами английской и немецкой поэзии, много писала о Пушкине. Эмигрировала в 1985 году. В настоящее время живет в Бостоне, преподает русский язык в Гарвардском университете. Печатается регулярно в русских ихданиях эмиграции, включая "Континент". Автор "Граней" (см. №№ 144 и 148).

Н е з н а н с к и й Фридрих Евсеевич, род. в 1932 году в г. Журавичи БССР. Окончил Московский юридический институт. 25 лет работал в органах юстиции. Занимался научной деятельностью и печатался в научной

периодике. Выехал из СССР в 1977 году. На Западе с большим успехом на более чем 10 языках вышли его книги: "Журналист для Брежнева или смертельные игры", "Красная площадь" (обе в соавторстве с Э. Тополем), "Ярмарка в Сокольниках" и "Операция 'Фауст' ". На нескольких языках также вышла его книга "Земля преступлений"(1983) – анализ преступности в СССР. Член редколлегии журнала "Посев", в котором регулярно печатаются его статьи.

П о п о в с к и й Марк Александрович, род. в 1922 году в Одессе. Учился в Военно-Медицинском училище и Военно-Медицинской академии. Участник Второй мировой войны. Окончил филфак МГУ. После войны – профессиональный литератор. В СССР опубликовано 14 его книг, посвященных деятелям науки, и десятки статей. С 1977 года живет в США, регулярно печатается в периодике русского зарубежья (более подробно см. "Грани" № 143).

Р у т ы ч Николай Николаевич (Н. Н. Рутченко), род. в 1916 году. В 1939 году закончил Ленинградский университет. Соавтор (вместе с М. Тубянским) книги "Тюрен как полководец", Воениздат, 1940 г.

Мобилизован в 1939 и 1941 гг. Попав в плен, был за связь с НТС захвачен Гестапо, и я января 1944 года находился в тюрьмах и концлагерях (Заксенхаузен, Шлоссенбург, Дахау).

После войны в 1960 году, в издательстве "Посев" публиковал книгу "КПСС у власти". Автор многочисленных статей в "Посеве", "Русской мысли", "Гранях" и других эмигрантских периодических изданиях (более подробно см. "Грани" № 148).

С и н к е в и ч Валентина, род. в 1926 г. в Киеве. Во время Второй мировой войны попала в Европу. С 1950 года живет в США, в настоящее время в Филадельфии.По профессии – библиотечный работник. Автор нескольких поэтических сборников, в том числе "Огни", "Наступление дня", "Цветение трав". Редактирует поэтический альманах "Встречи".

Главный редактор
Е. А. Брейтбарт-Самсонова

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

к литературной молодежи, к писателям и поэтам, к деятелям культуры — ко всей российской интеллигенции

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»

ГРАНИ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве – 60 н.м.
через магазины – 70 н.м.

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н.м.
через посредников — 84 н.м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ" – 17.50 н.м., „ПОСЕВ" – 7 н.м.

Расходы по пересылке за счет подписчика

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 75500, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.

ISSN 0017-3185